ДЖОЗЕФ
JOSEPH CONRAD

Джозеф Конрад

КОНРАД

ТЕНЕВАЯ ЧЕРТА



Теневая черта

Джозеф Конрад

Аннотация
Джозеф Конрад. Теневая черта
Часть первая
  Глава первая
  Глава вторая
  Глава третья
Часть вторая
  Глава четвертая
  Глава пятая
  Глава шестая

Аннотация

В одном из восточных портов судоходная компания срочно ищет судовладельца, который доставит дешевый груз в Сингапур. В порту ждет изящный трехмачтовый барк, уже загруженный и укомплектованный малайским экипажем. По авторитетной рекомендации владелец передает своего матроса молодому, только что назначенному капитану в качестве первого командира. Расстояние от порта до порта: 800 морских миль – расстояние, которое суда, подобные только что упомянутому, преодолевают за десять дней. Однако молодому английскому капитану, требуется вдвое больше времени. Первое командование сопровождается чередой кризисов: отсутствие ветра, болезнь экипажа, в добавок ко всему его безумный первый помощник считает, что корабль преследует злой дух бывшего капитана. Теневая черта – та черта, которая отделяет нашу беззаботную юность от зрелости, от нашего нового чувство ответственности за других. Перейти её – значит уже никогда не стать снова таким

как прежде. Для главного героя такой чертой становится первое командование кораблём.

Джозеф Конрад
Теневая черта

Joseph Conrad, «The Shadow-Line»
© перевод с английского А. Полоцкой
© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»

Часть первая

Глава первая

Только у тех, кто молод, бывают такие мгновения.

Я не говорю о тех, кто очень молод. Нет. У тех, кто очень молод, собственно говоря, мгновений не бывает. Привилегия ранней молодости — жить не оглядываясь, всегда упиваясь прекрасной надеждой, не знающей усталости и самоуглубления.

Закрываешь за собою калитку отрочества — и входишь в зачарованный сад. Самые его тени светятся обетованием.

За каждым поворотом тропинки свои соблазны. И не потому, что это неоткрытая страна. Отлично знаешь, что весь человеческий род прошел по той же дороге. От этого-то очарования всемирного опыта и ждешь необычного или личного ощущения — чего-то своего, собственного.

Идешь вперед, узнавая следы своих предшественников, возбужденный, увлеченный, готовый одинаково к удаче и к неудаче — к живописной общей доле, скрывающей столько возможностей для достойного или, пожалуй, для удачливого. Да.

Идешь вперед. И время тоже идет — пока не замаячит впереди теневая черта, предостерегающая тебя, что страну ранней юности придется тоже оставить позади.

Это-то и есть та пора жизни, когда могут наступить мгновения, о которых я говорил. Какие мгновения? Да мгновения скуки, усталости, неудовлетворенности. Безрассудные мгновения. Я хочу сказать — мгновения, когда молодежь склонна к безрассудным поступкам, как, например, внезапная женитьба или беспричинный отказ от работы.

Здесь была не женитьба. Так далеко со мной дело не зашло. Мой поступок, как ни был он безрассуден, походил скорее на развод — почти что на бегство. Без всякой сколько-нибудь разумной причины я бросил место списался с корабля, — покинул судно, о котором нельзя было сказать ничего дурного, кроме разве того, что это был пароход и поэтому, может быть, не имел права на ту слепую верность, которая… Словом, нечего стараться приукрасить то, в чем я сам даже и тогда был отчасти склонен видеть просто каприз.

Случилось это в одном восточном порту. Судно было восточным судном, так как было приписано к этому порту.

Оно плавало среди темных островов на синем, изборожденное рифами море, с английским флагом на кормовом флагштоке и вымпелом судовладельца на топе мачты, тоже красным, но с зеленой каймой и белым полумесяцем.

Ибо хозяином судна был араб и к тому же потомок пророка. Оттого и зеленая кайма на флаге. Он был главой большого племени местных арабов, но в то же время самым лояльным подданным многоплеменной Британской империи, какого только можно найти к востоку от Суэцкого канала.

Мировая политика не интересовала его нисколько, но он пользовался большой незримой властью среди своего народа.

Нам-то было совершенно безразлично, кто хозяин. По мореходной части ему приходилось пользоваться трудом белых людей, и многие из тех, кто у него служил, в глаза его не видели, с первого и до последнего дня. Я сам видел его только раз, совершенно случайно, на пристани — старого смуглого человечка, слепого на один глаз, в белоснежном одеянии и желтых туфлях.

Руку его немилосердно целовала толпа малайских паломников, которым он помог деньгами и съестными припасами. Я слышал, что милосты-

ню он раздавал очень щедро, чуть ли не по всему Архипелагу. Ибо разве не сказано, что «милосердный человек друг аллаху»?

Превосходный (и живописный) хозяин-араб, из-за которого не приходилось ломать себе голову, превосходнейшее шотландское судно — ибо таким оно было сверху донизу, — превосходный корабль, легко содержимый в чистоте, необыкновенно удобный во всех отношениях и, если бы не движущая сила в недрах его, достойный любви каждого; я по сей день питаю глубокое уважение к его памяти.

Что касается рода торговли, которым он занимался, и характера моих товарищей, то они не могли бы нравиться мне больше, если бы жизнь и люди были созданы по моему заказу каким-нибудь добрым волшебником.

И вдруг я все это бросил. Бросил так же беспричинно, как беспричинно для нас — птица улетает с удобной ветки. Я словно, сам того не сознавая, услышал какой-то шепот или увидел что-то. Да… может быть! Вчера еще все обстояло совершенно благополучно, и вдруг на следующий день все исчезло: прелесть, аромат, интерес, удовлетворение — все. Понимаете, это было как раз одно из тех мгновений. Хандра поздней юности напала

на меня и увлекла.

Увлекла с этого судна, хочу я сказать.

Нас на борту было всего четверо белых, команда из калашей и два младших офицера — малайцы. Капитан вытаращил на меня глаза, точно недоумевая, что на меня нашло. Но он был моряк, и он тоже был когда-то молод.

Под его густыми седыми усами мелькнула улыбка, и он заметил, что, конечно, если я испытываю желание уйти, он не может удерживать меня насильно. И мы условились, что я получу расчет на следующее утро. Когда я выходил из штурманской рубки, он вдруг странно серьезным тоном добавил, что желает мне найти то, на поиски чего мне так не терпится отправиться. Мягкие, загадочные слова, которые проникли глубже, чем самое твердое оружие. Я думаю, что он понимал мое состояние.

Но второй механик принял мое заявление иначе. Это был дюжий молодой шотландец с безбородым лицом и ясными глазами. Его честная красная физиономия вынырнула из машинного отделения, а за ней и весь этот крепкий человек с засученными рукавами, медленно вытиравший комком ветоши мощные руки. И его ясные глаза выражали досаду и горечь, как будто наша

дружба превратилась в пепел. Он внушительно произнес:

— Ну да! Я так и думал, что вам пора удрать домой и жениться на какой-нибудь глупой девчонке.

В порту было молчаливо признано, что Джон Нивен свирепый женоненавистник; и нелепость этой выходки убеждала, что он хотел меня уязвить — глубоко уязвить, — хотел сказать самую уничтожающую вещь, какую только мог придумать. Мой смех прозвучал укоризненно. Только друг мог так рассердиться! Я немного упал духом. Наш старший механик тоже проявил характерное отношение к моему поступку, но более мягко.

Он тоже был молод, но очень худ, и его изможденное лицо было обрамлено пушистой каштановой бородкой.

Весь день, на море или в гавани, он торопливо шагал взад и вперед по юту, с напряженным сосредоточенным выражением лица, которое вызывалось постоянным сознанием неприятных физических ощущений в его внутреннем механизме. Ибо он страдал хроническим несварением желудка. Его взгляд на мой поступок был очень прост. Он сказал, что это не что иное, как рас-

стройство печени. Разумеется!

Он предложил мне остаться еще на один рейс и тем временем принимать некое патентованное средство, в которое сам он верил безусловно.

— Я вам скажу, что я сделаю. Я куплю две бутылки на собственный счет. Вот. Я говорю ясно, не правда ли?

Думаю, он и поступил бы так жестоко (или великодушно) при малейшем признаке слабости с моей стороны. Но в то время я был так неудовлетворен, недоволен и упрям, как никогда. Последние полтора года, полные таких новых и разнообразных впечатлений, казались скучной, прозаической тратой времени. Я чувствовал — как бы выразиться? — что из них нельзя извлечь истины.

Какой истины? Мне было бы очень трудно это объяснить. Вероятно, если бы на меня насели, я просто-напросто разразился бы слезами. Я был достаточно молод для этого.

На следующий день капитан и я отправились оформить дело в портовое управление. Это была высокая, большая, прохладная белая комната, куда мирно просачивался сквозь жалюзи дневной свет. Все здесь — как чиновники, так и публика — были в белом. Только тяжелые полированные

конторки в среднем проходе отливали темным блеском да лежавшие на них бумаги были синие. Огромные пунки посылали сверху мягкий ветерок на эту безупречную обстановку и на наши потные головы.

Чиновник за конторкой, к которой мы подошли, любезно улыбнулся и продолжал улыбаться до тех пор, пока в ответ на его небрежный вопрос: «Списываетесь и опять записываетесь?» — мой капитан не ответил: «Нет! Списывается совсем». Тогда его улыбка исчезла, сменившись внезапной торжественностью. Он не взглянул на меня ни разу, пока не вручил мне моих бумаг со скорбным выражением, как будто это был мой паспорт в Аид.

Пока я прятал их, он шепотом спросил о чем-то капитана, и я услышал, как тот добродушно ответил:

— Нет. Он покидает нас, чтобы отправиться домой.

— О! — воскликнул чиновник, мрачно покачивая головой над моим прискорбным случаем.

Я никогда не встречал его за пределами официального здания, но он перегнулся через конторку, чтобы сочувственно пожать мне руку, как пожал бы ее бедняге, идущему на виселицу; и я боюсь,

что исполнил свою роль довольно неприветливо, на манер закоренелого, нераскаявшегося преступника.

Почтового парохода, идущего на родину, ждали не раньше, чем через три-четыре дня. Так как я был теперь человеком без корабля и на время порвал всякую связь с морем, — ведь я теперь превратился в простого потенциального пассажира, — то, может быть, самым подходящим для меня было бы остановиться в гостинице. Таковая имелась в двух шагах от портового управления — низкое, но тем не менее похожее на дворец здание с белоколонными павильонами среди аккуратных лужаек. Да, там-то я, наверно, почувствовал бы себя пассажиром! Я бросил на гостиницу враждебный взгляд и направил свои шаги к Дому моряков.

Я шел по солнцу, не обращая на него внимания, и в тени больших деревьев эспланады, не наслаждаясь ею. Жара тропического востока проникала сквозь густую листву, обволакивая мое легко одетое тело, прилипая к моему мятежному недовольству, словно желая лишить его свободы.

Дом моряков был просторным бунгало с широкой верандой; от улицы его отделял садик,

имевший курьезно пригородный вид, с кустами и несколькими деревьями.

Это учреждение имело отчасти характер местного клуба, но с легким правительственным привкусом, так как находилось в ведении портового управления. Его заведующий официально именовался старшим стюардом. Это был жалкий, сморщенный человечек, которому превосходно пошел бы жокейский костюм. Но было очевидно, что в тот или иной период жизни, в том или ином звании, он имел какое-то отношение к морю. Может быть, просто во всеобъемлющем звании неудачника.

Мне казалось, что служба у него очень легкая, но он почему-то уверял, что его должность когда-нибудь сведет его в могилу. Это было несколько загадочно. Может быть, такова уже была его натура, что все ему казалось трудным. Во всяком случае, он, очевидно, терпеть не мог, чтобы в доме жили люди.

Войдя в, дом, я подумал, что стюард должен быть доволен. Здесь было тихо, как в могиле. В жилых комнатах я не видел ни души; и веранда тоже была пуста, если не считать какого-то человека, дремавшего, развалившись в шезлонге, в дальнем конце ее. При звуке моих шагов он

открыл один отвратительно-рыбий глаз. Я не знал, кто это.

Я ушел с веранды и, пройдя через столовую — неуютную комнату с голыми стенами и неподвижной пункой, висящей над средним столом, — постучал в дверь, на которой была надпись черными буквами «Старший стюард».

В ответ на мой стук послышалась раздраженная и скорбная жалоба: «О, господи! О, господи! Что еще?» — и я вошел.

Странно было видеть под тропиками такую комнату.

В ней царили полумрак и духота. Окна были закрыты, и этот субъект навесил на них пропыленные дешевые кружевные занавеси. Углы были заставлены грудами картонок, какие в Европе употребляют портнихи и модистки; и каким-то образом он раздобыл себе мебель, которая, казалось, вышла прямо из почтенной гостиной лондонского Ист-Энда — набитый волосом диван и такие же кресла.

Я заметил грязные салфеточки, наброшенные на эту ужасную мебель, которая внушала страх, потому что нельзя было угадать, какая таинственная случайность, нужда или фантазия занесли ее сюда. Ее владелец снял свой китель и в белых

брюках и тонкой фуфайке с короткими рукавами расхаживал за спинками кресел, потирая худые локти.

Когда он услышал, что я хочу остановиться в доме, с его уст сорвался испуганный возглас; но он не мог отрицать, что свободных комнат сколько угодно.

— Отлично. Вы можете дать мне ту, которую я занимал раньше?

Он издал слабый стон из-за наваленных на стол картонок, в которых могли быть перчатки, носовые платки или же галстуки. Хотел бы я знать, что он в них хранил? В этом его логове стоял запах разрушающихся кораллов, восточной пыли, зоологических образцов. Я видел только его макушку и грустные глаза, смотревшие на меня из-за барьера.

— Всего на несколько дней, — сказал я, чтобы ободрить его.

— Может быть, вы хотели бы заплатить вперед? — с энтузиазмом предложил он.

— Конечно, нет! — выпалил я, как только был в состоянии заговорить. Никогда не слышал ничего подобного!

Это такая наглость…

Он схватился обеими руками за голову — жест

отчаяния, укротивший мое негодование.

— О, господи! О, господи! Не сердитесь так. Я спрашиваю всех.

— Я этому не верю, — заявил я напрямик.

— Ну, так собираюсь спрашивать. И если бы вы все согласились платить вперед, я мог бы получить плату и с Гамильтона. Он всегда высаживается на берег без гроша и, даже когда у него есть деньги, не хочет платить по счетам. Я не знаю, что с ним делать. Он ругает меня и говорит, что не могу же я выбросить на улицу белого человека. Так вот, если бы вы согласились…

Я был поражен. И не поверил. Я заподозрил этого субъекта в беспричинной наглости. Я очень выразительно сказал ему, что раньше увижу на виселице и его и Гамильтона, и предложил ему не надоедать мне больше своим вздором, а проводить меня в мою комнату. Тогда он достал откуда-то ключ и вышел из своей берлоги, бросив на меня искоса злобный взгляд.

— Есть здесь кто-нибудь, кого я знаю? — спросил я его, прежде чем он вышел из моей комнаты.

Он впал в свой обычный жалобно-нетерпеливый тон и сказал, что здесь находится капитан Джайлс, только что вернувшийся из рейса в море Соло. Кроме него есть еще два человека. Он

сделал паузу.

— И, конечно, Гамильтон.

— О да, Гамильтон! — сказал я, и жалкое создание убралось, застонав напоследок.

Его наглые слова еще звенели у меня в ушах, когда я вошел в столовую во время второго завтрака. Он был там — присматривал за слугами китайцами. К завтраку был накрыт только один конец длинного стола, и пунка лениво шевелила горячий воздух — главным образом над пустым пространством полированного дерева:

Нас было четверо за столом, в том числе незнакомец, который дремал в шезлонге. Оба его глаза были теперь полуоткрыты, но едва ли что-нибудь видели. Он полулежал. Осанистая особа рядом с ним, с короткими бакенбардами и тщательно выскобленным подбородком, был, конечно, Гамильтон. Я никогда не видел никого, кто с таким достоинством занимал бы тот пост, который провидению угодно было ему дать. Мне говорили, что он смотрит на меня, как на выскочку. Когда я зашумел, отодвигая свой стул, он поднял не только глаза, но и брови.

Капитан Джайлс сидел во главе стола. Я обменялся с ним несколькими словами приветствия и сел слева от него. Полный и бледный, с большим

сияющим куполом лысого лба и карими глазами навыкате, он был похож на кого угодно, только не на моряка. Никого не удивило бы, если бы он оказался архитектором. На мой взгляд (я знаю, как это нелепо), он был похож на церковного старосту.

У него была наружность человека, от которого ждешь доброго совета, нравственных чувств, да еще, пожалуй, парочки плоских изречений, вставленных при случае не из желания блеснуть, а по честному убеждению.

Хотя очень хорошо известный и ценимый в мире моряков, Он не имел постоянной службы. Он в ней не нуждался.

У него было свое собственное своеобразное положение.

Он был экспертом. Экспертом — как бы выразиться? — в трудном мореплавании. Считалось, что отдаленные и недостаточно исследованные части Архипелага он знает лучше всех на свете. Его мозг признавали настоящим складом рифов, положений, направлений, очертаний мысов, форм неведомых берегов, общего вида бесчисленных островов, обитаемых и необитаемых. Так, каждое судно, отправлявшееся в Палаван или куда-нибудь в те края, приглашало капитана

Джайлса в качестве временного капитана или же «помочь шкиперу». Говорили, что он получает постоянное жалованье от богатой фирмы китайских пароходовладельцев за такие услуги. Кроме того, он был всегда готов заменить людей, желавших побыть немного на берегу. Ни один владелец никогда не возражал против соглашений такого рода. Ибо в порту, по-видимому, установилось мнение, что капитан Джайлс не хуже, если не лучше, самого лучшего из капитанов. Но, по мнению Гамильтона, он был «выскочка». Думаю, для Гамильтона обобщение «выскочка» распространялось на нас всех: хотя я полагаю, что в душе он все-таки делал различия.

Я не пытался вступить в беседу с капитаном Джайлсом, которого видел не больше двух раз в жизни. Но, конечно, он знал, кто я такой. И вскоре, наклонив свою большую блестящую голову в мою сторону, он дружелюбно заговорил со мною первый. Видя меня здесь, сказал он, он предполагает, что я взял отпуск на несколько дней, чтобы провести их на берегу.

Голос у него был очень тихий. Я ответил несколько громче:

— Нет, я оставил судно совсем.

— Свободный человек на время, — комменти-

ровал он, — Да, пожалуй, я могу назвать так себя с одиннадцати часов, — сказал я.

Услышав наши голоса, Гамильтон перестал есть. Он тихо положил нож и вилку, встал и, пробормотав что-то об «этой адской жаре, отбивающей всякий аппетит», вышел из комнаты. Почти сейчас же вслед за этим мы услыхали, как он спускается по ступенькам веранды.

Тогда капитан Джайлс небрежно заметил, что парень, несомненно, отправился в порт в надежде получить мое прежнее место. Старший стюард, стоявший, прислонясь к стене, приблизил к столу свое лицо, похожее на унылую морду козла, и жалобно заговорил с нами. Целью его было облегчить душу, излив свою вечную обиду на Гамильтона. Из-за этого человека и его неоплаченных счетов у него всегда неприятности с портовым управлением. Он от души желает, чтобы Гамильтон получил мое место, хотя, в сущности, что толку? В лучшем случае — временное облегчение.

— Можете не беспокоиться, — сказал я. — Он не получит моего места. Мой преемник уже на борту.

Он был удивлен, и лицо его как будто слегка вытянулось. Капитан Джайлс тихо рассмеялся.

Мы встали и вышли на веранду, оставив развалившегося на стуле незнакомца на попечении слуг китайцев.

Последнее, что я видел, — это как они поставили перед ним тарелку с куском ананаса и отошли, наблюдая, что из этого выйдет. Но опыт оказался неудачным. Он сидел все так же апатично.

Капитан Джайлс тихим голосом сообщил мне, что это офицер с яхты какого-то раджи, зашедший в порт для ремонта в сухом доке.

— Должно быть, здорово кутнул вчера, — прибавил он, сморщив нос, с задушевным и конфиденциальным видом, сильно польстившим мне. Ибо капитан Джайлс пользовался престижем. Ему приписывали приключения и какую-то таинственную трагедию в его жизни. И никто не мог сказать ни слова в упрек ему. Он продолжал: — Помню, как он в первый раз сошел на этот берег несколько лет тому назад. Как будто это было вчера. Он был славный мальчик.

Ох, эти славные мальчики!

Я невольно расхохотался. Он, видимо, удивился, потом тоже рассмеялся.

— Нет! Нет! Я не то хотел сказать! — вскричал он. — Я хотел сказать, что некоторые из них удивительно быстро размякают здесь.

Я шутливо предположил, что причиной может быть зверская жара. Но оказалось, что у капитана Джайлса более глубокая философия. На Востоке жизнь сделали слишком легкой для белых людей. Но это еще не беда. Трудность в том, чтобы оставаться белыми, а некоторые из этих славных мальчиков не знали, как это сделать. Он бросил на меня испытующий взгляд и с видом благожелательного дядюшки спросил напрямик:

— Почему вы списались с корабля?

Я вдруг рассердился, ибо вы можете себе представить, как должен раздражать такой вопрос человека, который сам этого не знает. Себе я сказал, что обязан заткнуть рот этому моралисту, а ему сказал с вызывающей вежливостью:

— Почему?.. Вы не одобряете?

Он был так сбит с толку, что мог только несвязно пробормотать: «Я!.. Вообще…» — и оставил меня в покое.

Но он отступил в полном порядке, под прикрытием тяжеловесно-юмористического замечания, что и он тоже понемножку размякает и что сейчас время его сиесты, когда он бывает на берегу.

— Очень дурная привычка. Очень дурная привычка.

Простодушие этого человека обезоружило бы

обидчивость даже более юношескую, чем моя. И, когда на следующий день за завтраком он наклонился ко мне и сказал, что встретил вчера вечером моего бывшего капитана, тихонько прибавив: «Он очень жалеет о вашем уходе. У него еще не бывало помощника, который так подходил бы ему», — я серьезно, без всякой аффектации, ответил ему, что я, конечно, за всю свою морскую жизнь не чувствовал себя так хорошо ни на одном судне и ни с одним командиром.

— Так как же… — пробормотал он.

— Разве вы не слышали, капитан Джайлс, что я собираюсь домой?

— Да, — благожелательно сказал он. — Я часто слышал такие вещи.

— Так что же? — вскричал я.

Я подумал, что он самый тупой, лишенный воображения человек, какого я когда-либо встречал. Не знаю, что бы я еще сказал, но как раз в эту минуту вошел сильно запоздавший Гамильтон и сел на свое обычное место. Поэтому я понизил голос до шепота:

— Как бы то ни было, на сей раз это будет сделано.

Гамильтон, великолепно выбритый, коротко кивнул капитану Джайлсу, но при виде меня

даже бровей не поднял; единственные произнесенные им слова были обращены к старшему стюарду, которому он сказал, что поданное ему кушанье не годится для джентльменов. Индивидуум, к которому он обращался, казался слишком несчастным, чтобы застонать. Он поднял глаза к пунке, и это было все.

Мы с капитаном Джайлсом встали из-за стола, и незнакомец, сидевший рядом с Гамильтоном, с трудом поднявшись на ноги, последовал нашему примеру. Он, бедняга, пытался положить себе в рот кусок этого недостойного кушанья — не потому, что был голоден, а, как я глубоко убежден, только для того, чтобы вернуть себе самоуважение. Но дважды уронив вилку и вообще проявив себя в этом отношении несостоятельным, он застыл на месте с видом глубокого уныния, сочетавшегося с жутко остекленевшим взглядом. Мы с Джайлсом избегали смотреть за столом в его сторону.

На веранде он остановился и взволнованно обратился к нам с каким-то длинным замечанием, которого я так и не понял. Оно звучало, точно он говорил на каком-то ужасном, неведомом языке. Но когда капитан Джайлс после короткого размышления дружелюбно уверил его: «Да, конечно.

Вы совершенно правы» — он, видимо, остался очень доволен и двинулся дальше (и притом довольно твердым шагом) к стоявшему вдали шезлонгу.

— Что он пытался сказать? — с отвращением спросил я.

— Не знаю. Надо быть поснисходительней к этому малому. Можете быть уверены, что он чувствует себя довольно скверно; а завтра ему будет еще хуже.

Судя по его внешности, это казалось невозможным.

Я недоумевал, какого рода мудреный кутеж довел его до этого неописуемого состояния. Благодушие капитана Джайлса портил курьезный оттенок самодовольства, который мне не понравился. Я сказал с легким смехом:

— Ну что ж, придется вам за ним поухаживать.

Он сделал жест, выражающий, что он просит его уволить, сел и взял газету. Я сделал то же самое. Газеты были старые и неинтересные, заполненные большей частью нудными стереотипными описаниями первого юбилея королевы Виктории. Вероятно, мы быстро впали бы в тропическую послеполуденную дремоту, если бы в столовой не раздался голос Гамильтона. Он

кончал там свой завтрак. Большая двустворчатая дверь всегда была открыта настежь, и он не подозревал о том, как близко к ней стоят наши кресла. Мы услышали его громкий и надменный ответ на какое-то замечание старшего стюарда:

— Я отказываюсь действовать очертя голову. Думаю, они будут рады заполучить джентльмена. Торопиться незачем.

Последовал громкий шепот стюарда, и затем снова голос Гамильтона, еще более презрительный:

— Что? Тот глупый юнец, воображающий о себе бог весть что, только потому, что был у Кента старшим помощником?.. Вздор.

Джайлс и я переглянулись. Кент был мой бывший командир. Поэтому шепот капитана Джайлса: «Он говорит о вас» — показался мне совершенно излишней тратой сил. Должно быть, старший стюард продолжал на чем-то настаивать, потому что Гамильтон сказал еще более надменно, если это только возможно, и с ударением:

— Ерунда, дружище! С таким выскочкой не конкурируют. Времени сколько угодно.

Затем в соседней комнате отодвинули стулья, послышались шаги и жалобные уговоры стар-

шего стюарда, преследовавшего Гамильтона, который выходил на улицу через главный вход.

— Какая у этого человека оскорбительная манера, — заметил капитан Джайлс; опять-таки совершенно излишнее замечание, по моему мнению. Крайне оскорбительная. Уж не обидели ли вы его чем-нибудь?

— Никогда в жизни не сказал с ним и двух слов, — буркнул я. — Не понимаю, что он разумел под конкуренцией. Он пытался получить мое место после моего ухода и не получил. Но этого нельзя назвать конкуренцией.

Капитан Джайлс задумчиво и благодушно покачал своей большой головой.

— Он не получил его, — медленно повторил он. — Да и рассчитывать нечего у Кента. Кент очень жалеет, что вы ушли. Он считает вас хорошим моряком.

Я отшвырнул газету, которую держал в руке. Я выпрямился, я хлопнул ладонью по столу. Я хотел знать, почему он так упорно вмешивается в мое чисто личное дело. Право, было отчего выйти из себя.

Невозмутимо спокойный взгляд капитана Джайлса заставил меня замолчать.

— Тут нет ничего такого, из-за чего стоило бы

сердиться, рассудительно пробормотал он, явно желая успокоить вызванное им ребяческое раздражение. И действительно, он производил впечатление такого безобидного человека, что я попытался объясниться как мог. Я сказал, что не хочу больше слышать о том, с чем раз навсегда покончено. Мне было очень хорошо, пока это продолжалось, но теперь, когда все кончено, я предпочитаю не говорить и даже не думать об этом. Я решил ехать на родину.

Он выслушал всю тираду очень внимательно, склонив голову набок, точно стараясь уловить фальшивую ноту; затем выпрямился и, по-видимому, тщательно обдумывал этот вопрос.

— Да. Вы говорили мне, что думаете ехать домой. Там у вас есть что-нибудь в виду?

Вместо того чтобы сказать ему, что это его не касается, я угрюмо ответил:

— Насколько мне известно, ничего.

Я вполне отдавал себе отчет в этой неблагоприятной стороне положения, которое создал сам, бросив вдруг свою совершенно приличную службу. И был не очень доволен.

На языке у меня вертелось, что здравый смысл не имеет ничего общего с моим поступком и что, следовательно, он не заслуживает интере-

са, который к нему проявляет капитан Джайлс. Но он пыхтел короткой деревянной трубкой и казался таким простодушным, туповатым и заурядным, что не стоило смущать его правдой или сарказмом.

Он выдохнул облако дыма, затем удивил меня отрывистым вопросом:

— Уже купили билет?

Побежденный дерзким упорством человека, которому довольно трудно было грубить, я с преувеличенной кротостью ответил, что пока еще не купил. Я считал, что успею сделать это завтра.

И я уже собирался уйти, унося свою тайну подальше от его бессмысленных, бесцельных попыток докопаться, из какого теста она сделана, как вдруг он с необыкновенно многозначительным видом положил свою трубку, — знаете, с таким видом, как будто наступил решительный момент, — и перегнулся боком через стол, стоявший между нами.

— О! Еще не купили! — Он таинственно понизил голос. — Ну, в таком случае, я думаю, вам не мешало бы знать, что здесь что-то происходит.

Никогда в жизни я не чувствовал себя более отрешенным от всего происходящего на земле.

Освобожденный на время от моря, я продол-

жал хранить присущее моряку сознание полной независимости от всех земных дел. Как могли они касаться меня? Я смотрел на оживление капитана Джайлса скорее с презрением, чем с любопытством.

На его, видимо, предварительный вопрос, говорил ли со мной сегодня наш стюард, я ответил отрицательно.

И, мало того, он не встретил бы поощрения, если бы вздумал говорить. Я вообще не желаю вступать с ним в разговоры.

Не смутившись моей резкостью, капитан Джайлс с необыкновенно проницательным видом начал рассказывать мне какую-то пустяковую историю о рассыльном портового управления. Это была совершенно бессмысленная история. Сегодня утром на веранде появился рассыльный с письмом в руке. Оно было в официальном конверте. По обыкновению всех этих людей, он показал его первому же белому, которого встретил. Этот белый был наш приятель в шезлонге. Он, как мне известно, не в состоянии был интересоваться какими бы то ни было подлунными делами.

Он мог только отмахнуться. Тогда рассыльный пошел по веранде и наткнулся на капитана

Джайлса, который по странной случайности был там…

На этом месте он остановился с глубокомысленным видом. Письмо, продолжал он, было адресовано старшему стюарду. Спрашивается, чего ради капитану Эллису, коменданту порта, вздумалось писать стюарду? Ведь он каждое утро является в портовое управление с докладом, за распоряжениями и так далее. Еще и часу не прошло с тех пор, как он вернулся оттуда, и вдруг рассыльный гонится за ним с письмом. Что это могло значить?

И он начал гадать. Это не могло означать того — и не могло означать сего. А что касается еще чего-нибудь, то это было немыслимо.

Все казалось такой нелепостью, что я буквально вытаращил глаза. Если бы этот человек не был все-таки симпатичной личностью, я бы принял его слова за оскорбление. Теперь же я чувствовал к нему только жалость. Что-то удивительно серьезное в его взгляде мешало мне расхохотаться ему в лицо. Я даже не позволил себе зевнуть.

Я только таращил на него глаза.

Его тон стал чуточку более таинственным. Как только этот субъект (подразумевался стюард) получил записку, он бросился за своей шляпой

и выбежал из дому. Но не потому, чтобы записка призывала его в портовое управление. Туда он и не ходил. Для этого он отсутствовал слишком короткое время. Очень скоро он снова влетел в столовую, швырнул в угол шляпу и стал бегать взад и вперед, охая и хлопая себя по лбу. Все эти волнующие факты и действия были замечены капитаном Джайлсом. По-видимому, он с тех пор все время размышлял над ними.

Я почувствовал к нему глубокое сострадание. И тоном, который я постарался сделать как можно менее саркастическим, я выразил радость по поводу того, что он нашел, чем занять свои утренние часы.

Он же с обезоруживающей простотой обратил мое внимание — как будто это было важным обстоятельством — на то, как странно, что он вообще провел утро дома. Обычно он уходит до завтрака, чтобы зайти в ту или иную контору, повидаться с друзьями в порту и так далее. Сегодня же ему было что-то не по себе. Ничего особенного. Но все-таки напала лень.

Все это — а также упорный, пристальный взгляд и нелепость рассказа создавало впечатление тихого унылого помешательства. А когда он немного придвинул свой стул и понизил голос до

таинственного шепота, у меня мелькнула мысль, что превосходная профессиональная репутация не всегда является гарантией здравого рассудка.

Мне тогда не пришло в голову, что я не знаю, в чем же, собственно, заключается здравость рассудка и какая это деликатная и, в сущности, неважная материя. Чтобы не оскорбить его чувств, я смотрел на него с заинтересованным видом. Но когда он таинственно спросил меня, помню ли я, что произошло сейчас между нашим стюардом и «этим Гамильтоном», я только хмуро буркнул «да» и отвернулся.

— Да. Но вы помните каждое слово? — тактично настаивал он.

— Не знаю. Это меня не касается, — отрезал я и громко послал стюарда и Гамильтона ко всем чертям.

Я хотел этой энергичной выходкой положить конец всей истории, но капитан Джайлс продолжал задумчиво смотреть на меня. Ничто не могло его остановить. Он начал указывать на то, что в этот разговор была впутана моя личность. Когда я попытался сохранить притворное равнодушие, он стал положительно жесток. Я слышал, что сказал этот человек? Да? Что же я об этом думаю, хотелось бы ему знать.

Так как наружность капитана Джайлса исключала подозрение в хитром злорадстве, то я пришел к заключению, что он попросту самый бестактный идиот на земле. Я почти презирал себя за слабость, выразившуюся в попытках немножко просветить его ум. Я постарался объяснить, что ничего решительно об этом не думаю. Гамильтон не стоит того, чтобы им занимались. Что думает или говорит такой грубиян и бездельник… «Вот именно!» — вставил капитан Джайлс… не заслуживает даже презрения со стороны порядочного человека, и я не собираюсь обращать на него ни малейшего внимания.

Эта позиция казалась мне такой простой и очевидной, что я искренно удивился, не найдя сочувствия в капитане Джайлсе. Такая законченная тупость была почти интересна.

— Что вы хотите, чтобы я сделал? — со смехом спросил я. — Не могу же я затеять ссору из-за мнения, которое он составил себе обо мне. Конечно, я слышал, что он отзывается обо мне презрительно. Но своего презрения он мне не навязывает. Он никогда не выражал его в моем присутствии. Ведь и теперь он не знал, что мы его слышим.

Я только показался бы смешным.

Неисправимый Джайлс продолжал задумчиво

пыхтеть своей трубкой. Вдруг лицо его прояснилось, и он заговорил:

— Вы не поняли самого главного.

— В самом деле? Очень рад это слышать, — сказал я.

Все больше оживляясь, он снова подтвердил, что я не понял самого главного… Совершенно не понял. И со все возрастающим самодовольством он сообщил мне, что мало что ускользает от его внимания, а все замеченное он привык обдумывать и обычно благодаря знанию жизни и людей приходит к правильным заключениям.

Такое самовосхваление, разумеется, прекрасно подходило к нарочитой бессмысленности всего разговора.

Вся эта история усиливала во мне то смутное ощущение жизни, как простой траты времени, которое полусознательно погнало меня с хорошего места, прочь от приятных мне людей, заставив бежать от угрожающей пустоты… чтобы на первом же повороте найти бессмыслицу. Вот тут передо мной человек признанной репутации и достоинств оказывается нелепым и жалким болтуном. И, вероятно, везде то же самое — на востоке и на западе, снизу и до верху социальной лестницы.

Мною овладело уныние. Умственная сонливость. Голос Джайлса звучал все так же благодушно: голос всемирного пустого самодовольства. И я больше не сердился на него. От мира нельзя ждать ничего оригинального, ничего нового, поражающего, расширяющего кругозор; нечего ждать случая узнать что-нибудь о самом себе, обрести мудрость или поразвлечься. Все было глупым и раздутым, как сам капитан Джайлс. Да будет так.

Вдруг моего слуха коснулось имя Гамильтона, и я очнулся.

— Я думал, мы покончили с ним, — с величайшим отвращением сказал я.

— Да. Но, принимая во внимание то, что нам пришлось только что услышать, я полагаю, вам следовало бы так поступить.

— Следовало бы так поступить? — Я растерянно выпрямился на стуле. — Как поступить?

Капитан Джайлс с удивлением уставился на меня.

— Как? Да так, как я вам советую. Подите и спросите у стюарда, что было в этом письме из портового управления. Спросите его прямо.

На миг у меня отнялся язык. Я услышал нечто столь неожиданное и оригинальное, что ре-

шительно ничего не мог понять. Я изумленно пробормотал:

— Но я думал, что это вы Гамильтона…

— Именно. Не подпускайте его. Сделайте то, что я вам говорю. Насядьте на стюарда. Держу пари, что он у вас попрыгает, — настаивал капитан Джайлс, выразительно размахивая у меня под носом дымящейся трубкой. Затем он быстро затянулся три раза подряд.

Его вид, торжествующий и проницательный, был неописуем. И, однако, этот человек оставался странно симпатичным существом. Благожелательность так и излучалась из него, комично, мягко, трогательно. Было в этом и что-то раздражающее. Но я холодно, как человек, имеющий дело с чем-то непонятным, указал, что не вижу оснований подвергать себя риску встретить отпор со стороны этого субъекта. Он — весьма посредственный стюард и к тому же жалкое создание, но говорить с ним мне хочется не больше, чем ущипнуть его за нос.

— Ущипнуть его за нос, — повторил капитан Джайлс скандализованным тоном. — Много пользы принесло бы это вам!

Это замечание казалось столь неуместным, что на него нечего было ответить. Но чувство

нелепости начинало наконец оказывать свое хорошо известное действие. Я почувствовал, что не должен больше позволять этому человеку разговаривать со мной. Я встал, сухо заметив, что все это не по мне — что я не могу его понять.

Не успел я отойти, как он снова заговорил изменившимся упрямым тоном, нервно попыхивая трубкой.

— Правда… он… нестоящий малый… конечно. Но вы все-таки… спросите его. Спросите, и больше ничего.

Эта новая манера произвела на меня впечатление — или, вернее, заставила меня помедлить. Но здравый смысл сейчас же взял верх, и я покинул веранду, подарив его невеселой улыбкой. Пройдя несколько шагов, я очутился в столовой, теперь убранной и пустой. Но в течение этого короткого времени в голову мне пришли самые разнообразные мысли, как-то: что Джайлс потешался надо мной, думая позабавиться за мой счет, что я, вероятно, произвожу впечатление легковерного дурака, что я знаю жизнь очень мало…

К моему крайнему удивлению, дверь в конце столовой распахнулась. Это была дверь с надписью «стюард», и он сам выбежал из своей душной, филистерской берлоги с нелепым видом загнан-

ного зверя и бросился к двери в сад.

Я по сей день не знаю, что заставило меня крикнуть ему вслед: «Послушайте! Подождите минутку!» Может быть, это объясняется брошенным им на меня искоса взглядом, или же я все еще находился под влиянием загадочной настойчивости капитана Джайлса. Словом, это был какой-то толчок; действие той внутренней силы, которая так или иначе формирует нашу жизнь. Потому что, если бы эти слова не сорвались с моих уст (моя воля была здесь ни при чем), то моя жизнь, безусловно, была бы все-таки жизнью моряка, но пошла бы в совершенно непостижимом для меня теперь русле.

Да. Моя воля была здесь ни при чем. И не успел я произнести те роковые слова, как уже горько пожалел о них.

Если бы этот человек остановился и встретил меня лицом к лицу, мне пришлось бы с позором ретироваться. Ибо у меня не было ни малейшего желания проделать идиотскую шутку капитана Джайлса ни за свой собственный счет, ни за счет стюарда.

Но здесь в дело вмешался старый человеческий инстинкт погони. Стюард притворился глухим, и я, не задумываясь ни на секунду, обежал обеден-

ный стол и у самой двери преградил ему путь.

— Почему вы не отвечаете, когда с вами говорят? — грубо спросил я.

Он прислонился к притолоке. Вид у него был самый несчастный. Боюсь, что человеческая натура не очень-то благородна. В ней есть отвратительные пятна. Я начинал сердиться, — думаю, только потому, что у моей дичи был такой удрученный вид. Жалкое существо!

Я сразу перешел в наступление:

— Я слышал, что сегодня утром получено официальное сообщение из портового управления. Это верно?

Он не сказал мне, чтобы я не мешался не в свое дело, а вместо того начал хныкать, но не без нахальства. Он нигде не мог найти меня сегодня утром. Нельзя же требовать, чтобы он бегал за мной по всему городу.

— Да кто этого требует? — вскричал я. И тут мои глаза раскрылись на внутренний смысл поступков и речей, тривиальность которых была так поразительна и так надоедлива.

Я сказал ему, что хочу знать, что было в том письме. Суровость моего тона и манер была притворной только наполовину. Любопытство может быть очень злобным чувством — иногда.

Он стал что-то бормотать, ища спасения в глупо-надутом виде. Меня это не касается, мямлил он. Я сказал ему, что еду домой. А раз я еду домой, он не понимает, зачем ему…

Таковы были его аргументы, настолько бессвязные, что казались почти оскорбительными. То есть оскорбительными для человеческого разума.

В этот сумеречный период между молодостью и зрелостью, в котором я находился тогда, человек особенно чувствителен к такого рода оскорблениям. Боюсь, что я вел себя со стюардом очень грубо. Но не в его привычках было давать кому-нибудь или чему-нибудь отпор. Употребление наркотиков или, может быть, одинокое пьянство…

И, когда я забылся настолько, что стал осыпать его бранью, он сдался и начал визжать.

Не то чтобы он поднял громкий крик. Это была циничная исповедь, со взвизгиваниями, но трусливая — трусливая до жалости. Она была не слишком связной, но достаточно связной, чтобы я онемел. Я отвел от него взгляд в праведном негодовании и заметил в дверях веранды капитана Джайлса, спокойно наблюдающего эту сцену, — дело своих рук, если можно так выразиться. Бросалась в глаза его дымящаяся черная

трубка в большой стариковской руке. А также и блестящая тяжелая золотая цепочка на груди, поперек белого кителя. Он излучал атмосферу такой добродетельной прозорливости, что невинная душа не могла не броситься к нему доверчиво. Я бросился к нему.

— Вы бы никогда этому не поверили! — воскликнул я. — Получено извещение, что для какого-то судна нужен шкипер. Очевидно, имеется свободная вакансия, а этот субъект прячет письмо себе в карман.

— Вы сведете меня в могилу! — с превеликим отчаянием громко взвизгнул стюард.

И не менее громко хлопнул себя по злосчастному своему лбу. Но, когда я обернулся, чтобы взглянуть на него, его уже не было. Он куда-то скрылся. Это внезапное исчезновение заставило меня расхохотаться.

Таков был конец инцидента — для меня. Но капитан Джайлс, уставившись на то место, где стоял стюард, начал дергать свою внушительную золотую цепочку, пока наконец часы не появились из глубокого кармана, как зримая истина из колодца. Он торжественно погрузил их снова в карман и только тогда сказал:

— Ровно три часа. Вы поспеете — если, конечно,

не будете терять времени.

— Поспею куда? — спросил я.

— Господи боже мой! В портовое управление. Это дело надо расследовать.

Строго говоря, он был прав. Но у меня никогда не было особенного пристрастия к расследованию, к выведению на чистую воду и тому подобным, несомненно, этически похвальным занятиям. А мое отношение к этому эпизоду было чисто этическое. Если кто-нибудь и должен свести стюарда в могилу, то я не видел оснований, почему бы этого не сделать самому капитану Джайлсу, человеку в летах, с положением и местному жителю. Тогда как я по сравнению с ним чувствовал себя в этом порту только залетной птицей. Право, можно было сказать, что я уже порвал все связи с ним. Я пробормотал, что не думаю… что для меня это пустяки…

— Пустяки! — повторил капитан Джайлс, проявляя некоторые признаки спокойного, рассудительного негодования. — Кент предупреждал меня, что вы странный малый. Вы еще скажете мне, что командование для вас пустяки — и это после всех моих хлопот!

— Хлопот! — пробормотал я, ничего не понимая. Каких хлопот? Я мог припомнить только,

что он мистифицировал меня и надоедал мне своим разговором добрый час после завтрака. И он называл это хлопотами!

Он смотрел на меня с самодовольством, которое было бы отвратительно во всяком другом человеке. Вдруг, точно предо мной перевернулась страница книги и открылось слово, сделавшее понятным все, что происходило прежде, я сообразил, что это дело имело еще и другую сторону, кроме этической.

И все-таки я не двигался с места. Капитан Джайлс начал терять терпение. Рассерженный моими колебаниями, он запыхтел трубкой и повернулся ко мне спиной.

Но это не были колебания. Я, если можно так выразиться, был умственно приведен в негодность. Но как только я убедился, что этот выдохшийся, бесплодный мир, вызвавший мое недовольство, содержит такие вещи, как возможность командовать судном, ко мне вернулась способность движения.

От Дома моряка до портового управления порядочное расстояние; но с магическим словом «командование» в голове я внезапно очутился на набережной, точно перенесенный туда в мгновение ока, перед порталом из тесаного бе-

лого камня, осеняющим низкие белые ступени лестницы.

Все это, казалось, быстро скользило мне навстречу.

Весь большой рейд справа был сплошным голубым сиянием, но я не замечал ни жары, ни блеска до того самого мгновения, пока меня не поглотил сумрачный прохладный вестибюль.

Широкая внутренняя лестница словно сама подкралась мне под ноги. Командование — могущественная магия.

Первыми человеческими существами, которых я ясно различил с тех пор, как расстался с негодующей спиной капитана Джайлса, был экипаж портового парового катера, болтавшийся без дела на просторной площадке у завешенной арки, ведущей в судовую контору.

Здесь моя энергия покинула меня. Атмосфера официальности убивает все, что дышит воздухом человеческих стремлений, угашает равно надежду и страх верховенством бумаги и чернил. Тяжелой поступью я прошел под портьерой, которую откинул для меня рулевой малаец с портового катера. В конторе не было никого, кроме клерков, сидевших в два ряда и усердно писавших. Но начальник конторы спрыгнул со своего

возвышения и бросился по толстым циновкам в широкий центральный проход навстречу мне.

У него была шотландская фамилия, но цвет лица оливковый, короткая бородка, черная, как смоль, а глаза, тоже черные, смотрели томно. Он конфиденциальным тоном спросил:

— Вы хотите видеть его?

Так как при соприкосновении с чиновничьим миром вся легкость ума и тела покинули меня, я вяло посмотрел на писца и в свою очередь устало спросил:

— А вы как думаете? Стоит?

— Вот тебе на! Да он сегодня два раза спрашивал о вас.

Этот внушительный он был высшее начальство, морской инспектор, комендант порта — очень важная персона в глазах каждой канцелярской крысы. Но это ничто по сравнению с тем, какого мнения о своем величии был он сам.

Капитан Эллис смотрел на себя, как на некую божественную (языческую) эманацию, как на представителя Нептуна для окрестных морей. Если он и не управлял волнами, то он претендовал на управление судьбами смертных, чьи жизни были отданы морям.

Эта возвышающая иллюзия делала его инкви-

зиторски непреклонным. И так как темпераментом он обладал холерическим, то были люди, которые не на шутку боялись его. Он был грозен не в силу занимаемой им должности, а благодаря своим ничем не оправдываемым претензиям.

Мне еще никогда не приходилось иметь с ним дела.

— А, он два раза спрашивал обо мне, — сказал я. — Тогда, пожалуй, мне лучше пойти к нему.

— Конечно! Конечно!

Мой собеседник мелкими шажками повел меня вокруг целой системы конторок к высокой, внушительного вида двери, которую он открыл почтительно.

Он смело (но не выпуская ручки двери) вошел и, благоговейно оглядев комнату, молча мотнул головой, делая мне знак войти. Затем он сейчас же выскользнул и закрыл дверь за мной так осторожно, как только мог.

Три высоких окна выходили на гавань. В них не видно было ничего, кроме синего сверкающего моря да более бледной сияющей синевы неба. В глубинах и далях этих синих тонов мои глаза уловили белое пятно — какое-то большое судно, которое только что прибыло и собиралось бросить якорь на внешнем рейде. Судно с родины

— после, быть может, трех месяцев плаванья. Есть что-то трогательное в судне, приходящем с моря и свертывающем свои белые крылья для отдыха.

За-тем я увидел хохол серебристых волос, возвышающийся над гладко выбритым красным лицом капитана Эллиса, которое было бы апоплексическим, если бы не казалось таким свежим.

Наш представитель Нептуна не носил бороды, и не видно было трезубца, который стоял бы где-нибудь в углу вместо зонтика. Но рука его держала перо — официальное перо, обладающее гораздо большей, нежели меч, властью творить и разрушать судьбы простых тружеников. Он смотрел на меня через плечо, пока я приближался.

Когда я подошел достаточно близко, он приветствовал меня оглушающим:

— Где вы пропадали все это время?

Так как это его не касалось, я не обратил ни малейшего внимания на крик. Я просто сказал, что слышал, будто для какого-то судна требуется капитан, а так как я служил на парусных судах, то и подумал, что может быть…

Он прервал меня:

— Да что там! К черту! Вы тот человек, который нам нужен — даже если бы за этим местом

гналось двадцать Других. Но этого опасаться нечего. Они все боятся взяться за это дело. Вот в чем суть.

Он был очень раздражен.

— Неужели? Почему же это, сэр? — невинно спросил я.

— Почему? — вскипел он. — Боятся парусов. Боятся белого экипажа. Слишком много хлопот. Слишком много работы. Слишком долго торчали здесь. Легкая жизнь и палубные кресла больше им подходят. И вот предо мною каблограмма генерального консула, а единственного годного для этого дела человека нигде найти нельзя. Я уже начал подумывать, что вы тоже увиливаете…

— Я явился в управление немедленно, — спокойно заметил я.

— О вас здесь хорошая слава, — свирепо буркнул он, не глядя на меня.

— Очень рад слышать это от вас, сэр, — сказал я.

— Да. Но вас нет на месте, когда вы нужны. Вы знаете, что вас не было. Этот ваш стюард не посмел бы пренебречь приказом управления. Где вы, черт побери, пропадали большую часть дня?

Я только любезно улыбнулся, а он, по-видимому, опомнился и попросил меня сесть. Он

объяснил, что капитан одного британского судна умер в Бангкоке и генеральный консул телеграфировал ему, прося прислать подходящего человека, чтобы принять командование.

Очевидно, по его мнению, я был этим человеком с самого начала, хотя, судя по всему, извещение, адресованное в Дом моряка, носило общий характер. Контракт был уже приготовлен. Он дал мне его прочесть, и, когда я вернул его, заявив, что принимаю условия, представитель Нептуна подписал контракт, своей собственной высокой рукой приложил печать, сложил вчетверо (это был лист голубой бумаги малого формата) и протянул мне — дар чудодейственной крепости, ибо, когда я положил его в карман, голова у меня слегка закружилась.

— Это ваше назначение капитаном, — не без важности сказал он. Официальное назначение, связывающее владельцев условиями, которое вы приняли. Теперь когда вы будете готовы ехать?

Я сказал, что если нужно, буду готов сегодня же. Он тут же поймал меня на слове. Пароход «Мелита» отходит в Бангкок сегодня вечером, около семи часов. Он официально предложит капитану взять меня в качестве пассажира и подождать меня до десяти часов.

Затем он встал, и я тоже. Голова у меня кружилась, в этом не было сомнения, а руки и ноги отяжелели, как будто стали больше с тех пор, как я опустился на этот стул. Я отвесил поклон.

В манере капитана Эллиса произошла какая-то неуловимая перемена, словно он отложил в сторону трезубец представителя Нептуна. На самом деле он просто уронил, вставая, свое официальное перо.

Глава вторая

Капитан Эллис протянул мне руку:

— Ну, вот вы и командир, официально назначенный, под мою ответственностью.

Он и в самом деле провожал меня до двери. Каким огромным казалось расстояние до нее! Я двигался, точно в оковах. Но наконец мы ее достигли. Я открыл ее с таким чувством, как будто все это сон, и тут-то в последний миг, товарищество моряков сказалось сильнее, чем разница в возрасте и положении. Оно сказалось в голосе капитана Эллиса.

— Прощайте — и всего вам хорошего, — произнес он так сердечно, что я мог только бросить ему благодарный взгляд. Затем я повернулся и вышел, чтобы уже никогда в жизни с ним не встретиться. Не прошел я и трех шагов по конторе, как услышал за своей спиной суровый, громкий, повелительный голос, голос нашего представителя Нептуна.

Он обращался к начальнику конторы, который, впустив меня, по-видимому, все время вертелся поблизости.

— Мистер Р., пусть портовый катер разведет

пары и в половине десятого отвезет капитана на «Мелиту».

Я был изумлен поразительной живостью ответа Р.: «Да, сэр». Он выбежал на площадку, опережая меня. Мое новое звание было для меня еще невесомо, и я не сознавал, что эта любезность относится именно ко мне, к капитану.

Казалось, у меня за плечами вдруг выросли крылья. Я так и скользил по навощенному полу.

Но впечатление, произведенное на Р., было сильно.

— Послушайте! — воскликнул он на площадке лестницы, где малайцы матросы с парового катера стояли, точно окаменелые, глядя на человека, ради которого их задерживали так поздно в конторе, оторвав от девушек или от чистых семейных радостей. — Послушайте! Он дает свой катер! Как это вы его обработали?

Взгляд его выражал почтительное любопытство. Я совсем растерялся.

— Разве это для меня? Я понятия не имел, — пролепетал я.

Он несколько раз кивнул головой:

— Да. И последний, кто пользовался катером до вас, был герцог. Вот видите!

Думаю, он ждал, что я тут же упаду в обморок.

Но я слишком торопился, чтобы проявлять свои эмоции. Мои чувства были уже в таком водовороте, что это потрясающее сообщение не внесло ничего нового. Оно просто упало в кипящий котел моего мозга, и я унес его с собой после краткой, но чувствительной сцены прощания с Р.

Милость великих окружает ореолом счастливый предмет их выбора. Этот превосходный человек спросил, не может ли он быть чем-нибудь мне полезен. Наше знакомство было чисто шапочным, и он прекрасно знал, что больше никогда меня не увидит: я был, вместе с другими моряками порта, только предметом для официальных донесений, для заполнения бланков со всем напускным превосходством человека пера и чернил над людьми, которые сталкиваются с действительностью за священными стенами официальных зданий. Какими призраками должны были мы ему казаться! Простыми символами, которыми можно жонглировать в книгах и тяжелых реестрах, призраками без мозгов и мускулов, не ведающими забот, — чем-то вряд ли полезным и решительно низшего порядка.

И этот человек — по окончании занятий в конторе — хотел чем-нибудь быть мне полезен!

Мне бы следовало, собственно говоря, быть

тронутым до слез. Но я даже и не подумал об этом. Это было просто еще одно чудесное событие этого дня чудес. Я расстался с ним, словно он был простым символом. Я проплыл вниз по лестнице. Я выплыл из официального и импозантного портала. Я поплыл дальше.

Я употребляю это слово, предпочитая его слову «лететь», потому что у меня было ясное ощущение, что, хотя я и нахожусь в юношески приподнятом настроении, мои движения неторопливы. Для этой смешанной — белой, коричневой и желтой — части человеческого рода, стремившейся в разные стороны довольно степенно. И ничто в области абстракции, не могло сравниться с моей глубокой отрешенностью от форм и красок этого мира. Она была, так сказать, абсолютной.

И, однако, я вдруг узнал Гамильтона. Я узнал его без усилия, без удивления, не дрогнув. Он шел к портовому управлению с чопорным, надменным достоинством. Его красное лицо издали бросалось в глаза. Оно пылало на теневой стороне улицы.

Он тоже заметил меня. Что-то (может быть, бессознательно бьющая через край радость) заставило меня усердно помахать ему рукой. Эта бестактная выходка совершилась прежде, чем я понял, что способен на нее.

Он сразу остановился, пораженный моей наглостью, точно пулей. Мне даже кажется, что он пошатнулся, хотя, насколько я мог видеть, он не упал. Я прошел мимо, не поворачивая головы. Я уже забыл об его существовании.

Следующие десять минут могли бы быть десятью секундами или десятью столетиями; для моего сознания они не существовали. Люди могли бы падать вокруг меня мертвыми, дома рушиться, пушки палить — я бы ничего не заметил. Я думал: «Черт возьми! Оно мое!» Оно — это было командование. Оно пришло ко мне путем, совершенно непредвиденным в моих скромных грезах.

Я понял, что мое воображение двигалось по условному руслу и что мои надежды всегда были довольно серенькими. Я смотрел на командование, как на результат медленного и постепенного повышения на службе у какой-нибудь весьма почтенной фирмы. Как на вознаграждение за верную службу. Что же, верная служба дело хорошее.

Служишь верно ради самого себя, ради судна, из любви к избранной тобой самим жизни, но не ради награды.

В понятии награды есть что-то неприятное.

И вот теперь командование у меня в кармане, причем попало оно ко мне путем, правда, бесспорным, но совершенно неожиданным; помимо всех фантазий, сверх всех разумных ожиданий и даже несмотря на что-то вроде темной интриги, направленной на то, чтобы помешать ему достаться мне. Правда, интрига была жалкая, но она усиливала чувство удивления — как будто я был специально предназначен для этого судна, которого не знал, предназначен какой-то властью, более высокой, чем прозаические агентства коммерческого мира.

Во мне просыпалось странное чувство ликования. Если бы я работал ради этого командования десять лет или больше, не случилось бы ничего подобного. Я был немного испуган.

— Будем спокойнее, — сказал я себе.

У дверей Дома моряка меня, видимо, ждал злополучный стюард. Там было широкое крыльцо в несколько ступеней, и он бегал по площадке взад и вперед, точно на цепи. Расстроенная дворняжка. У него был такой вид, словно у него так пересохло в горле, что он не мог лаять.

С сожалением должен признаться, что, прежде чем войти, я остановился. В моем характере произошла перемена. Он ждал, раскрыв рот, затаив

дыхание, а я с полминуты смотрел на него.

— И вы думали, что можете помешать мне, — язвительно проговорил я.

— Вы сказали, что едете домой, — жалобно пискнул он. — Вы так сказали. Вы так сказали.

— Хотел бы я знать, что скажет капитан Эллис на эту отговорку, медленно, зловещим голосом произнес я.

Его нижняя челюсть все время тряслась, а голос был похож на блеяние больного козла.

— Вы меня выдали? Вы меня погубили?

Ни его отчаяние, ни явная нелепость всего этого не могли обезоружить меня. Это была первая попытка причинить мне вред — во всяком случае, первая, которую я обнаружил. И я был еще слишком молод, еще слишком по эту сторону теневой черты, чтобы не изумляться и не возмущаться такими вещами.

Я неумолимо смотрел на него. Пусть помучается. Он хлопнул себя по лбу, и я прошел в столовую, преследуемый его криком:

— Я всегда говорил, что вы сведете меня в могилу.

Этот вопль не только догнал меня, до и достиг веранды раньше меня и вызвал оттуда капитана Джайлса.

Он стоял передо мной в дверях, облеченный в трезвую солидность своей мудрости. Золотая цепочка блестела на его груди. Рука его сжимала дымящуюся трубку.

Я с жаром протянул ему руку; он как будто удивился, но в конце концов ответил на рукопожатие достаточно сердечно, со слабой улыбкой превосходства, точно ножом отрезавшей мои изъявления благодарности. Не думаю, чтобы я произнес больше одного слова. И даже от этого одного, судя по температуре моего лица, я покраснел, как от дурного поступка. Приняв равнодушный вид, я выразил удивление, как это он сумел разгадать маленькую скрытую игру, которая велась вокруг нас.

Он самодовольно пробормотал, что мало происходит в городе такого, изнанку чего он не сумел бы разгадать. А что касается этого дома, то он останавливается в нем уже лет десять. Ничто из того, что здесь творится, не ускользнет от его опытного глаза. И это не причинило ему никаких хлопот. Решительно никаких.

Затем своим спокойным, глухим голосом он пожелал узнать, принес ли я формальную жалобу на стюарда.

Я сказал, что нет, — хотя, конечно, не потому,

что не представился случай. Капитан Эллис очень комично напал на меня за то, что меня не было под рукой, когда я был нужен.

— Забавный старик, — вставил капитан Джайлс. — Что же вы сказали на это?

— Я просто сказал, что пришел, как только узнал об его письме. Больше ничего. Я не хотел повредить стюарду. Это ниже моего достоинства — вредить такому субъекту. Да. Я не жаловался, но он, по-видимому, думает, что я пожаловался. Ну и пусть думает. Он набрался страху, который не скоро забудет, потому что капитан Эллис дал бы ему такого пинка, что он летел бы до Центральной Азии.

— Подождите минутку, — сказал капитан Джайлс, внезапно покидая меня.

Я сел, чувствуя сильную усталость и тупую боль в голове. Не успел я собраться с мыслями, как он уже стоял передо мной, бормоча в виде извинения, что должен был пойти успокоить этого малого.

Я посмотрел на него с удивлением. Но, в сущности, мне это было безразлично. Он объяснил, что застал стюарда лежащим ничком на волосяном диване. Теперь он уже оправился.

— Он бы не умер от испуга, — презрительно

сказал я.

— Нет. Но он мог бы принять чересчур большую дозу из какой-нибудь бутылочки, которую держит у себя в комнате, — серьезно возразил капитан Джайлс. — Этот дурак уже раз пытался отравиться года два тому назад.

— Неужели? — равнодушно сказал я. — Что ж, он и в самом деле кажется не очень приспособленным для жизни.

— Ну, это можно сказать о многих.

— Не преувеличивайте! — возразил я, раздраженно посмеиваясь. — Но я хотел бы знать, что делали бы в этой части света, если бы вы перестали заботиться о ней, капитан Джайлс? В течение одного дня вы устроили мне командование и спасли жизнь стюарду. Хотя почему вы приняли в нас обоих такое участие, это свыше моего разумения.

С минуту капитан Джайлс молчал. Затем серьезно ответил:

— В сущности, он неплохой стюард. Во всяком случае, он умеет найти хорошего повара. И, что еще важнее, умеет удержать его. Я помню поваров, которые были здесь до него!

Должно быть, я сделал нетерпеливое движение, потому что он прервал свою речь извинением,

что задерживает меня болтовней, когда мне надо укладываться.

В действительности же мне нужно было побыть немного одному. Я торопливо ухватился за этот предлог. Моя комната была спокойным убежищем в, по-видимому, необитаемом крыле здания. Так как мне решительно нечего было делать (своих вещей я не распаковывал), то я сел на кровать и отдался во власть впечатлений последнего часа. Неожиданных впечатлений…

И прежде всего я удивлялся своему собственному состоянию. Почему я был так мало изумлен? Почему? Я был возведен в звание капитана в мгновение ока, не в порядке обычного течения человеческих дел, а точно по волшебству. Мне бы следовало быть повергнутым в изумление.

Но этого не случилось. Я был совсем как люди в сказках.

Их никогда ничто не удивляет. Когда из тыквы появляется роскошная карета, чтобы доставить Сандрильону на бал, она не взвизгивает. Она спокойно садится в нее и уезжает на встречу своему счастью.

Капитан Эллис (довольно свирепая фея) вынул командование из ящика почти так же неожиданно, как в сказке.

Но командование — абстрактная идея, и оно казалось «второстепенным чудом», пока меня не озарила мысль, что оно заключает в себе существование конкретного корабля.

Корабль! Мой корабль! Он был моим, ничто в мире не было в такой степени моим, отданным в мою исключительную власть и на мое попечение; предмет, требующий ответственности и преданности. Он стоял в ожидании меня, заколдованный, неспособный двигаться, жить, пуститься в мир (пока я не приеду), словно зачарованная принцесса.

Его зов донесся до меня, словно с облаков. Я никогда не подозревал его существования. Я не знал, какой у него вид, я едва расслышал его имя, и, однако, мы неразрывно связаны на какую-то долю нашего будущего, чтобы вместе плыть или затонуть!

Внезапно в жилах моих закипело нетерпение и дало мне такое напряженное ощущение жизни, какого я не испытывал никогда ни до того, ни после. Я понял, насколько я был моряком, душой, умом и телом — человеком, принадлежавшим исключительно морю и кораблям; море было единственным имевшим значение миром, а корабли — испытанием мужественности, темпе-

рамента, храбрости, верности — и любви.

Это был чудесный миг. И неповторимый. Вскочив с кровати, я долго шагал взад и вперед по комнате. Но, когда я сошел вниз, я вел себя достаточно сдержанно. Я только не мог ничего есть за обедом.

Я объявил о своем намерении отправиться на набережную пешком и должен отдать справедливость злополучному стюарду — он не пожалел хлопот, чтобы найти мне кули для багажа. Они пустились в путь, неся все мое земное достояние (за исключением небольшой суммы денег, которые были у меня в кармане) на длинном шесте. Капитан Джайлс выразил желание пойти со мной.

Мы шли по темной тенистой аллее эспланады. Здесь, под деревьями, было сравнительно прохладно.

— Я знаю, кто здорово рад, что видел вас в последний раз, — вдруг засмеявшись, заметил капитан Джайлс.

Я догадался, что он имеет в виду стюарда. У этого малого до последнего момента был испуганно-угрюмый вид. Я выразил удивление, что он попытался без всякой причины сыграть со мной такую скверную штуку.

— Разве вы не понимаете, что он хотел избавиться от нашего друга Гамильтона, сунуть его на это место? Тогда он убрался бы отсюда навсегда. Понимаете?

— Господи! — воскликнул я, чувствуя себя почему-то униженным. — Неужели это возможно? Каким же он должен быть дураком! Этого заносчивого, наглого бездельника! Да что вы! Да он не мог бы... И, однако, это ему чуть не удалось, ведь портовое управление должно было послать кого-нибудь.

— Да. Дурак вроде нашего стюарда иногда может быть опасен, сентенциозно заявил капитан Джайлс. — Именно потому, что он дурак, — еще наставительнее прибавил он своим самодовольным тихим голосом. — Потому что, — продолжал он в тоне неопровержимого утверждения, — ни один разумный человек не стал бы рисковать быть выброшенным из единственного места, где ему не грозит голодная смерть, только для того, чтобы избавиться от простой неприятности — от досадного пустяка. Не правда ли?

— Конечно, — согласился я, подавляя желание, расхохотаться над таинственной серьезностью, с которой он делился плодами своей премудрости, как будто они были результатом недозволенных

операций. — Но он вообще производит впечатление не совсем нормального. Вероятно, так оно и есть.

— Ну, что касается этого, то, я думаю, все люди немножко сумасшедшие, спокойно заявил он.

— Вы не допускаете исключений? — спросил я только для того, чтобы услышать его ответ.

Он помолчал немного, затем нанес мне меткий удар:

— Да ведь Кент говорит это даже про вас.

— Неужели? — парировал я, сразу озлобившись на своего бывшего капитана. — Об этом нет ничего в написанном им аттестате, который сейчас у меня в кармане.

И он привел вам примеры моей ненормальности?

Капитан Джайлс примирительным тоном пояснил, что это было только дружеское замечание, относившееся к моему внезапному уходу с судна без всякой видимой причины.

— А, уходу с его судна, — проворчал я и ускорил шаг.

Он не отставал от меня в глубоком сумраке аллеи, кап будто считал своей обязанностью выпроводить меня из колонии как нежелательного субъекта. Он слегка задыхался, что производило

трогательное впечатление. Но я не был растроган. Наоборот. Его пыхтение доставляло мне злобное удовольствие.

Вскоре я смягчился, замедлил шаг и сказал:

— Я просто хотел попробовать что-нибудь новое. Я чувствовал, что пришла пора. Разве это такое уж безумие?

Он не ответил. Мы выходили из аллеи. На мосту через канал маячила темная фигура, которая, казалось, в нерешительности ждала чего-то или кого-то.

Это был полисмен малаец, босоногий, в синем мундире.

Серебряная тесьма на его круглой шапочке тускло поблескивала при свете уличного фонаря. Он робко всматривался в нас.

Прежде чем мы успели подойти к нему, он повернулся и пошел впереди нас по направлению к молу. Пришлось пройти еще около ста ярдов; и затем я увидел своих кули, сидящих на корточках. Они держали шест на плечах, и все мое земное достояние, по-прежнему привязанное к шесту, покоилось на земле между ними. Сколько было видно глазу, на набережной не было ни одной живой души, за исключением полисмена, который отдал нам честь.

По-видимому, он задержал кули, как подозрительных, и не пустил их на мол. Но по моему знаку он с готовностью снял запрет. Терпеливые парни, поднявшись со слабым стоном, затрусили по доскам, а я приготовился распрощаться с капитаном Джайлсом, который стоял с таким видом, как будто его миссия приближалась к концу. Нельзя было отрицать, что все это сделал он. И пока я колебался, подыскивая подходящую фразу, он сказал:

— Вероятно, у вас будет хлопот по горло.

Я спросил, что заставляет его так думать; и он сослался на свой большой опыт. Судно давно вышло из порта, судовладельцы недостижимы по телеграфу, а единственный человек, который мог бы объяснить дело, мертв и похоронен.

— А вы сами в некотором роде новичок, — закончил он не допускающим возражений тоном.

— И не говорите, — сказал я. — Я слишком хорошо это знаю. Я только хотел бы, чтоб вы могли передать мне частицу своего опыта прежде, чем я уеду. Так как этого нельзя сделать за десять минут, то лучше мне и не спрашивать. К тому же меня ждет портовый катер. Но я не буду по-настоящему спокоен, пока не выведу своего судна в Индийский океан.

Он вскользь заметил, что от Бангкока до Индийского океана кусок порядочный. И эти слова, точно тусклая вспышка потайного фонаря, показали мне на миг широкий пояс островов и рифов между этим неведомым судном, которое было моим, и простором великих вод земного шара.

Но я не испытывал опасений. К тому времени я был неплохо знаком с Архипелагом. Величайшее терпение и величайшая осторожность помогут мне пробраться через область раздробленной земли, слабых бризов и мертвых вод туда, где мое судно наконец помчится по волнам, кренясь под сильным дыханием постоянных ветров, которые дадут ему ощущение полной, напряженной жизни. Дорога будет долгая. Все дороги долги, которые ведут к достижению наших желаний. Но эту дорогу я мог себе представить на карте, профессионально, со всеми ее осложнениями и трудностями, но по-своему достаточно простую. Человек — либо моряк, либо не моряк. А я не сомневался, что я моряк.

Единственным местом, мне не знакомым, был Сиамский залив. И я упомянул об этом капитану Джайлсу. Но я не был особенно озабочен. Залив принадлежал к той же области, чья природа была мне ведома, в чью душу я, казалось, загля-

нул в последние месяцы этого существования, с которым я порвал внезапно, как расстаешься с какой-нибудь очаровательной компанией.

— Залив… Да! Забавное местечко, — сказал капитан Джайлс.

«Забавное» в данном случае было довольно туманным словечком. Вся фраза звучала, как мнение, высказанное осторожным человеком, опасающимся быть обвиненным в клевете.

Я не стал допытываться, в чем состоит эта забавность.

Для этого не было времени. Но под конец он решился предостеречь меня.

— Что бы вы ни делали, держитесь восточной стороны.

Западная опасна в это время года. Не поддавайтесь соблазну перейти туда. Вы не найдете там ничего, кроме неприятностей.

Хотя я не представлял себе, что могло бы соблазнить меня забраться в полосу течений и рифов Малайского побережья, я поблагодарил его за совет.

Он горячо пожал мне протянутую руку, и наше знакомство внезапно закончилось словами: «Спокойной ночи».

Он только и сказал: «Спокойной ночи». Больше

ничего.

Не знаю, что собирался сказать я, но, во всяком случае, от удивления я проглотил все свои слова. Я слегка поперхнулся и затем с нервной торопливостью воскликнул:

— О, спокойной ночи, капитан Джайлс, спокойной ночи!

Его движения были все так же медлительны, но его спина уже виднелась на порядочном расстоянии на пустынной набережной прежде, чем я опомнился настолько, чтобы последовать его примеру и повернуть к молу.

Только мои движения не были медлительны. Я сбежал по ступеням и прыгнул в катер. Не успел я добраться до кормы, как легкое маленькое суденышко, быстро заработав винтом и громко и часто пыхтя слабо поблескивающей медной трубой, уже отчалило от мола.

Смутное клокотание за кормой было единственным звуком в мире. Берег был погружен в безмолвие глубокой дремоты. Я наблюдал, как город тихо и бесшумно уходит в жаркий мрак, пока отрывистый окрик: «Эй, на катере!» не заставил меня обернуться. Мы подходили к белому, призрачному пароходу. На палубах, в иллюминаторах сияли огни. И тот же голос крикнул:

— Это наш пассажир?

— Он самый! — заорал я.

Экипаж был, по-видимому, наготове. Я слышал, как матросы бегали по палубе. Современный дух спешки слышался в приказаниях «Отдай конец», «Спускай трап» и в настойчивых просьбах ко мне: «Идите же, сэр! Нас задержали из-за вас на три часа…» Вы же знаете, мы должны были уйти в семь!»

Я поднялся на палубу. Я сказал: «Нет! Не знаю». Дух современной спешки был воплощен в худощавом, длинноруком, длинноногом человеке с коротко подстриженной седой бородкой. Его худая рука была суха и горяча. Он лихорадочно заявил:

— Пусть меня повесят, если я стал бы ждать еще пять минут, несмотря ни на каких комендантов порта.

— Это ваше дело, — сказал я. — Я не просил вас ждать.

— Надеюсь, вы не рассчитываете на ужин, — выпалил он. — Это не плавучий пансион. Вы первый пассажир, который у меня когда-либо был, и, надеюсь, последний.

Я ничего не ответил на это гостеприимное заявление; да он и не ждал ответа, а бросился на

мостик, чтобы дать знак к отплытию.

Все четыре дня, что я провел на пароходе, он не менял этой своей полувраждебной позиции. Так как его пароход из-за меня задержали на три часа, то он не мог простить мне, что я не такая уж важная персона. Он не говорил этого прямо. Но чувство досадливого удивления постоянно проглядывало в его словах.

Он держал себя нелепо.

Однако он был человеком большого опыта, который он любил выставлять напоказ, но большей противоположности капитану Джайлсу нельзя было себе представить. Он позабавил бы меня, если бы мне было до забав. Но мне было не до забав. Я, точно влюбленный, ждал свидания. Человеческая враждебность была для меня ничто. Я думал о своем неведомом корабле. Это было достаточным развлечением, достаточной мукой, достаточным занятием.

Он заметил мое состояние — на это у него хватало ума — и хитро издевался над моей озабоченностью, как некоторые скверные старые циники издеваются над мечтами и иллюзиями молодости.

Я со своей стороны воздерживался от расспросов о внешнем виде моего корабля, хотя знал, что,

бывая в Бангкоке каждые две недели, он должен был его видеть. Я не намерен был подвергнуть корабль — мой корабль! опасности какого-нибудь оскорбительного намека.

Он был первым действительно несимпатичным человеком, с которым мне случилось столкнуться. Мое воспитание было далеко не закончено, хотя я этого и не знал. Да!

Этого я не знал.

Я знал только, что он невзлюбил меня и питал к моей особе некоторое презрение. Почему? По-видимому, потому, что из-за меня его пароход задержали на три часа. Кто я такой, чтобы для меня делали подобные вещи? Для него подобных вещей никогда не делали. Это было как бы ревнивое негодование.

Мое ожидание, смешанное со страхом, дошло до высшей степени напряжения. Как медленно тянулись дни плаванья, и как скоро они миновали! В одно прекрасное утро мы рано вошли в устье, и, в то время как над плоскими пространствами земли великолепно вставало солнце, мы плыли бесчисленными излучинами, прошли под сенью большой золоченой пагоды и достигли окраин города.

Перед нами, широко раскинувшись на обоих

берегах, лежала восточная столица, доныне еще не знавшая белого завоевателя, — громадное пространство, занятое коричневыми домами из бамбука, из циновок, из листьев, домами растительного архитектурного стиля, выросшими из коричневой почвы на берегах мутной реки. Было странно думать, что на эти человеческие жилища, занимающие много миль, не пошло, вероятно, и полдюжины фунтов гвоздей. Некоторые из этих домов из жердей и травы, подобно гнездам какого-нибудь водяного племени, лепились у низких берегов. Другие, казалось, вырастали из воды; иные длинными рядами, на якорях, плавали по самой середине реки. Там и сям в отдалении, над скученной массой низких коричневых крыш, возвышались большие каменные строения королевский дворец, храмы, — пышные и разрушенные, рассыпающиеся под отвесными лучами солнца, могучими, подавляющими, почти осязаемыми, казалось, входившими в грудь вместе с дыханием через ноздри и просачивавшимися в тело сквозь поры кожи.

Нелепая жертва зависти должна была по той или иной причине остановить здесь свои машины. Пароход медленно шел вместе с приливом. Забыв об окружающем, я шагал по палубе в

тревожной, тупой задумчивости, в романтической мечтательности, сочетавшейся с очень практическим обзором своих способностей. Ибо приближалось время, когда я должен был увидеть порученное мне судно и доказать свою пригодность в высшем испытании моей профессии.

Вдруг я услышал, что этот глупец зовет меня. Он делал мне знаки подняться к нему на мостик.

Мне это не очень улыбалось, но так как он, по-видимому, хотел сказать мне что-то важное, то я поднялся по трапу.

Он положил руку мне на плечо и слегка повернул меня, в то же время указывая другой рукой.

— Вот! Это ваше судно, капитан, — сказал он.

Я почувствовал толчок в груди — только один, как будто потом сердце мое перестало биться. У берега стояло на якоре больше десяти судов, и то, на которое он указывал, было частью скрыто от моего взора судном, стоявшим за его кормой.

— Мы сейчас пройдем мимо него, — сказал он.

Какой у него был тон? Насмешливый? Угрожающий?

Или только равнодушный? Я не мог решить. Я подозревал скрытое коварство в этом неожиданном проявлении участия.

Он отошел от меня, а я перегнулся через поруч-

ни мостика, глядя вниз. Я не смел поднять глаз. Однако это надо было сделать — да, впрочем, я и не мог бы их не поднять. Мне кажется, я дрожал.

Но как только мои глаза остановились на моем судне, весь мой страх исчез. Он испарился, точно дурной сон.

Только сон не оставляет за собой стыда, а я на минуту почувствовал стыд за свои недостойные подозрения.

Да, это было оно. Его корпус, его рангоут доставили моим глазам великое удовлетворение. То чувство пустоты жизни, которое делало меня таким беспокойным последние месяцы, утратило свою горькую убедительность, свое дурное влияние, растворилось в потоке радостного волнения.

С первого взгляда я увидел, что это первоклассное судно, с гармоничными линиями изящного корпуса, с пропорционально высокими мачтами. Каков бы ни был его возраст и его история, оно сохранило печать своего происхождения. Это было одно из тех судов, которые, благодаря совершенству замысла и выполнения, никогда не кажутся старыми. Среди своих ошвартовавшихся у берега товарищей, которые все были больше его, оно казалось существом высшей породы — арабский

конь в ряду ломовых лошадей.

Голос за моей спиной сказал противно-двусмысленным тоном: «Надеюсь, вы довольны им, капитан». Я даже не повернул головы. Это был капитан парохода, и что бы ни хотел он сказать, что бы ни думал он о нем, я знал подобно иным исключительным женщинам, оно было одним из тех созданий, существование которых дарит бескорыстной радостью. Чувствуешь, что хорошо жить в мире, в котором существуют они.

Оно излучало ту иллюзию жизни и характера, которая чарует нас в лучших произведениях человеческих рук.

Огромная балка тикового дерева поднялась над его люком — безжизненное вещество, казавшееся тяжелее и крупнее всего, что находилось на борту. Когда ее стали спускать, отдавая тали, по нему, от ватерлинии до клотов, над тонкими нервами рангоута пробежала дрожь, как будто оно содрогнулось от тяжести. Казалось жестоким так его нагружать…

Полчаса спустя, впервые вступив на его палубу, я испытал чувство глубокого физического удовлетворения.

Ничто не могло сравниться с полнотой этого мгновения, с идеальной законченностью

этого эмоционального переживания, которое досталось мне без предварительных усилий и разочарований, связанных с незаметной карьерой.

Мой быстрый взгляд пробежал по судну, окутал, впитал в себя форму, конкретизирующую абстрактное чувство моего командования. В этот миг множество деталей, заметных для моряка, живо бросилось мне в глаза. Что касается остального, то я видел судно отрешенным от материальных условий его жизни. Берег, у которого оно ошвартовалось, как бы не существовал. Что были для меня все страны земного шара? Во всех частях света, омываемых судоходными водами, наше отношение друг к другу было бы тем же самым и более интимным, чем может выразить речь человеческая. Вне этого каждый пейзаж и эпизод были бы только мимолетным зрелищем. Даже скопище желтых кули, хлопочущих у гротлюка, было менее вещественно, чем то, из чего сотканы мечты. Ибо кто стал бы мечтать о кули?

Я пошел на корму, поднялся на ют, где под тентом поблескивали, точно на яхте, медные части, полированная поверхность поручней, стекла световых люков. На юте два моряка, драившие штурвал, — отраженная рябь света игриво пробе-

гала по их склоненным спинам, — продолжали свою работу, не замечая меня и того почти нежного взгляда, какой я бросил на них, входя в тамбур, прилегающий к каютам.

Двери были раскрыты настежь, выдвижная створка отодвинута до предела. Поворот трапа мешал видеть коридор. Снизу доносилось тихое жужжание, но оно разом оборвалось при звуке моих шагов по ступеням трапа.

Глава третья

Первое, что я увидел внизу, была верхняя часть туловища мужчины, выступавшая из одной из дверей у подножия трапа. Глаза его были широко раскрыты и неподвижно устремлены на меня. В одной руке он держал блюдо, в другой — скатерть.

— Я ваш новый капитан, — спокойно сказал я.

В один миг, в мгновение ока, он освободился от блюда и скатерти и бросился открывать дверь каюты. Как только я прошел в салон, он исчез, но только для того, чтобы немедленно появиться снова, застегивая куртку, которую надел с быстротой актера на роли «с переодеванием».

— Где старший офицер? — спросил я.

— Я думаю, в трюме, сэр. Я видел, как он спускался в ахтер-люк десять минут тому назад.

— Скажите ему, что я на судне.

Стол красного дерева под световым люком блестел в полумраке, точно темная лужа. Над буфетом с мраморной доской висело широкое зеркало в позолоченной раме. На нем стояли две лампы накладного серебра и несколько других вещиц — очевидно, вынутых и расставленных

на время пребывания в гавани. Салон был обшит двумя сортами дерева в том превосходном строгом вкусе, который господствовал в пору постройки судна.

Я сел в кресло во главе стола — капитанское кресло, с висящим над ним маленьким компасом-аксиометром — немым напоминанием о неослабной бдительности.

Многие сидели в этом кресле, сменяя друг друга. Эта мысль вдруг предстала передо мной так живо, как будто каждый из них оставил частицу себя между четырьмя стенами этого прекрасного салона; как будто некая составная душа, душа командования, внезапно шепнула моей душе о долгих днях на море и о тревожных мгновениях.

«Ты тоже! — казалось, говорила она. — Ты тоже вкусишь от этого покоя и этой тревоги в испытующей близости со своим собственным «я» — никому не ведомый, как и мы, и такой же властелин перед лицом всех ветров и всех морей, в безмерности, не хранящей отпечатков, не таящей воспоминаний и не ведущей счета жизням».

Глубоко внутри потускневшей золоченой рамы, в горячем полусвете, просачивавшемся сквозь тент, я видел свое собственное лицо, под-

пертое обеими руками. И я смотрел на себя с полной отрешенностью, вызванной расстоянием, смотрел скорее с любопытством, чем с каким-либо другим чувством, кроме разве некоторой симпатии к этому последнему представителю того, что по всем своим намерениям и целям было династией, непрерывной не по крови, а по опыту, по тренировке, по пониманию долга и по благословенной простоте своей традиционной точки зрения на жизнь.

Мне пришло в голову, что этот спокойно сидящий человек, которого я рассматривал, как если бы он был одновременно я сам и кто-то другой, не является, в сущности, одинокой фигурой. Он имел свое место в ряду людей, которых он не знал, о которых никогда не слышал, — на этих людей воздействовали те же силы, их души в своем отношении к скромной жизненной задаче не имели от него тайн.

Вдруг я заметил, что в салоне находится другой человек, стоящий немного боком и напряженно смотрящий на меня. Старший помощник. Его длинные рыжие усы определяли характер его физиономии, которая показалась мне сварливой на какой-то (странно сказать) жуткий лад.

Сколько времени стоял он здесь, глядя на меня,

оценивая меня в моем беспечно-мечтательном состоянии?

Я был бы более смущен, если бы не заметил, что длинная стрелка часов, вделанных в верхушку зеркальной рамы как раз напротив меня, почти не передвинулась.

Я пробыл в этой каюте не больше двух минут. Скажем, три… Таким образом, он не мог наблюдать за мной дольше какой-нибудь доли минуты — к счастью. Тем не менее мне было досадно, что так вышло.

Но я не показал и виду, а неторопливо (так надо было) встал и дружелюбно поздоровался с ним.

В его манерах было что-то принужденное и в то же время настороженное. Фамилия его была Бернс. Мы вышли из каюты и вместе обошли судно. В ярком свете дня лицо его оказалось очень усталым, худым, даже изможденным. Я как-то стеснялся глядеть на него слишком часто; его же глаза, напротив, были буквально прикованы к моему лицу. Они были зеленоватые и смотрели выжидательно.

Он с готовностью отвечал на все мои вопросы, но мое ухо уловило оттенок неохоты. Второй помощник был занят с тремя или четырьмя матросами на баке. Старший помощник назвал его

фамилию, и я кивнул ему мимоходом.

Он был очень молод. Он показался мне совсем еще молокососом.

Когда мы вернулись вниз, я сел на глубокий полукруглый или, вернее, полуовальный диван, обитый красным плюшем. Он тянулся вдоль всей задней стены кают-компании. Я предложил сесть и мистеру Бернсу, и он опустился на один из вращающихся стульев у стола, упорно не спуская с меня глаз, с таким странным видом, как будто все это была игра, и он ждал, что я вот-вот встану, расхохочусь, хлопну его по спине и исчезну из кают-компании.

Положение было странно-напряженным, и оно начинало действовать мне на нервы. Я старался отогнать это смутное чувство.

«Это попросту моя неопытность», — подумал я.

Перед этим человеком, на несколько лет, по-видимому, старше меня, я ощущал то, что уже оставил позади — свою молодость. А это было слабым утешением. Молодость хороша, она огромная сила — пока о ней не думаешь.

Я чувствовал, что начинаю конфузиться. Почти против воли я напустил на себя угрюмую важность. Я сказал:

— Вижу, у вас все в отличном порядке, мистер

Бернс.

Не успел я произнести эти слова, как уже сердито спросил себя, на кой черт мне вздумалось сказать их?

Мистер Бернс в ответ только заморгал глазами. Что он этим хотел дать понять?

Я вернулся к вопросу, который давно уже вертелся у меня в голове, самый естественный вопрос в устах каждого моряка, вступающего на борт судна. Я произнес его (проклятая конфузливость!) небрежно-веселым тоном:

— Ну, а как оно на ходу?

На подобный вопрос можно было ответить либо сокрушенно-извиняющимся тоном, либо с явно сдерживаемой гордостью, тоном, говорящим: «Я не хочу хвастать, но вы увидите». Есть также моряки, которые были бы грубо откровенны: «Ленивая тварь», или же чистосердечно восторженны: «Летит, как птица!» Два способа, хотя четыре манеры.

Но мистер Бернс нашел другой способ, свой собственный, имевший во всяком случае, за отсутствием других, то достоинство, что не стоил ему больших усилий.

Он опять промолчал. Он только нахмурился. И нахмурился сердито. Я ждал. Ни слова.

— В чем дело?.. Вы не можете на это ответить, пробыв на судне почти два года? — резко обратился я к нему.

На секунду он так удивился, как будто обнаружил мое присутствие только сию секунду. Но это прошло почти мгновенно. Он сделал равнодушную мину. Но, по-видимому, счел лучшим сказать что-нибудь. Он сказал, что судну, как и человеку, нужен случай, чтобы показать, на что оно способно, а этому судну никогда не представлялось такого случая с тех пор, как он на нем плавает. На его памяти этого не было. Покойный капитан… — Он замолчал.

— Что ж, он был таким неудачником? — с откровенным недоверием спросил я.

Мистер Бернс отвел от меня глаза. Нет, покойный капитан не был неудачником. Этого нельзя сказать. Но он, по-видимому, не желал пользоваться своей удачей.

Мистер Бернс — человек загадочных настроений — сделал это заявление с безжизненным лицом, упорно глядя на кожух рулевого привода. В самом заявлении чувствовался какой-то темный намек. Я спокойно спросил:

— Где он умер?

— В этом салоне. Как раз там, где вы сейчас

сидите, — ответил мистер Бернс.

Я подавил глупое побуждение вскочить с места; но в общем я почувствовал облегчение, услышав, что он умер не в койке, которая теперь должна быть моей. Я пояснил старшему помощнику, что спрашивал не об этом, а о том, где он похоронил своего капитана.

Мистер Бернс сказал, что у входа в залив. Могила просторная; ответ удовлетворительный. Но старший помощник, видимо, что-то преодолевая в себе — что-то вроде странной неохоты поверить в мое прибытие (как в неопровержимый факт, во всяком случае), этим не ограничился — хотя, вероятно, вопреки своему желанию.

Словно в виде компромисса со своими чувствами, он упорно обращался к кожуху рулевого привода, так что мне он казался человеком, разговаривающим с самим собой, правда, скорее бессознательно.

Он рассказал, что около полудня, когда пробили семь склянок, он собрал всех людей на шканцах и распорядился, чтобы они пошли проститься с капитаном.

Этих слов, сказанных нехотя, точно непрошеному гостю, было достаточно, чтобы живо вызвать в моем воображении странную церемонию: босо-

ногие моряки, с обнаженными головами, робко пробирающиеся в эту каюту, небольшая толпа, жмущаяся к этому буфету, скорее смущенная, чем тронутая, в расстегнутых на загорелой груди рубахах, с обветренными лицами, обращенными к умирающему капитану с одинаковой у всех серьезно выжидающей миной.

— Он был в сознании? — спросил я.

— Он не говорил, но открыл глаза и посмотрел на них, — сказал старший помощник.

Подождав минуту, мистер Бернс сделал экипажу знак выйти из каюты, но задержал двух самых старых и велел им побыть с капитаном, пока он пойдет на палубу со своим секстаном «ловить солнце». Время подходило к полудню, и он хотел точно определить широту. Когда он вернулся вниз, чтобы положить секстан на место, оказалось, что оба матроса вышли из каюты в коридор. В открытую дверь ему видно было, что капитан спокойно лежит на подушках. Он «отошел», пока мистер Бернс делал свои наблюдения. Ровно в полдень. Он даже не переменил положения.

Мистер Бернс вздохнул, пытливо взглянул на меня, как будто говоря: «Вы все еще не уходите?» — и затем обратил свои мысли от нового капитана к старому, который, будучи мертв, не

имел власти, никому не стоял поперек дороги и с которым гораздо легче было иметь дело.

Мистер Бернс подробно описал его. Это был странный человек — лет шестидесяти пяти, седой, с суровым лицом, упрямый и необщительный. Он имел обыкновение блуждать со своим судном по морю неведомо зачем. По ночам он иной раз поднимался на палубу, убирал какой-нибудь парус, один бог знает зачем и для чего, затем шел вниз, запирался у себя в каюте и играл на скрипке часами — до рассвета. Собственно говоря, большую часть дня и ночи он проводил, играя на скрипке. То есть, когда на него находило. И притом очень громко.

Дошло до того, что в один прекрасный день мистер Бернс собрал все свое мужество и обратился к капитану с серьезной претензией. Ни он, ни второй помощник, сменившись с вахты, не могут ни на минуту сомкнуть глаз из-за шума… Как же можно ждать от них, чтобы они бодрствовали на вахте? — усовещивал он. Ответом этого сурового человека было, что если ему и второму помощнику не нравится шум, то они могут забрать свои пожитки и убраться на все четыре стороны. Когда такая альтернатива была предложена, судно находилось на расстоянии шестисот миль от

ближайшей земли.

Тут мистер Бернс с любопытством взглянул на меня.

Я начинал думать, что мой предшественник был удивительно чудаковатым стариком.

Но мне пришлось услышать еще более странные вещи.

Оказалось, что этот суровый, свирепый, грубый, насквозь пропитанный ветром и морскою солью молчаливый шестидесятипятилетний моряк был не только музыкантом, но и влюбленным. В Хайфоне, когда они попали туда после долгих бессмысленных странствований (во время которых судно два раза чуть не погибло), он, выражаясь словами мистера Бернса, «связался» с какой-то женщиной. Мистер Бернс лично ничего не знал об этом деле, но бесспорное доказательство существовало в виде фотографии, снятой в Хайфоне. Мистер Бернс нашел ее в одном из ящиков в капитанской каюте.

В свое время я тоже увидел этот удивительный человеческий документ (впоследствии я даже выбросил его за борт). На фотографии он сидел, сложив руки на коленях, лысый, коренастый, седой, щетинистый, похожий на кабана; а рядом с ним возвышалась ужасная, перезрелая белая

женщина с хищными ноздрями и вульгарно-зловещим взглядом огромных глаз. Она была одета в какой-то полувосточный дешевый маскарадный костюм. Она походила на низкопробного медиума или на одну из тех женщин, которые за полкроны предсказывают по картам судьбу. И тем не менее она обращала на себя внимание. Профессиональная очаровательница из вертепов. Это было непонятно. Ужасной казалась мысль, что она была последним отблеском мира страсти для неистовой души, как будто отражавшейся в саркастически-диком лице старого моряка. Я заметил, что она держала в руках какой-то музыкальный инструмент — гитару или мандолину. Может быть, это и был секрет ее очарования.

Мистеру Бернсу эта фотография объяснила, почему ненагруженное судно три недели изнемогало на якоре в зачумленном, знойном порту без воздуха. Они стояли на якоре и задыхались. Капитан, появляясь время от времени на короткие побывки, бормотал мистеру Бернсу неправдоподобные басни про какие-то письма, которые он ждет.

Внезапно, после недельного отсутствия, он среди ночи явился на судно и велел на рассвете выходить в море. При дневном свете вид у него

был расстроенный и больной. На то, чтобы выйти в море, потребовалось два дня, и каким-то образом они сели на риф. Но дело обошлось без течи, и капитан, буркнув «пустяки», сообщил мистеру Бернсу, что он решил отправиться в Гонконг и там чинить судно в сухом доке.

При этом известии мистер Бернс впал в отчаяние. Да и в самом деле, пробиваться к Гонконгу против яростного муссона с недостаточным балластом и ограниченным запасом воды было безумием.

Но капитан непреклонно проворчал: «Делайте, что вам сказано» — и мистер Бернс, испуганный и взбешенный, делал, что ему было сказано, и не отступал, хотя срывало паруса, гнуло рангоут и люди падали от усталости, а он дошел почти до безумия, будучи абсолютно убежден, что попытка бесцельна и неминуемо кончится катастрофой.

Между тем капитан, запершись в каюте и забившись в угол дивана, чтобы не страдать от сумасшедших прыжков корабля, играл на скрипке — или, во всяком случае, производил на ней непрерывный шум.

Когда он появлялся на палубе, он ни с кем не разговаривал и не всегда отвечал, если к нему обращались. Было очевидно, что он болен какой-то

загадочной болезнью и начинает сдавать.

По мере того как проходили дни, звуки скрипки становились все менее и менее громкими, и наконец только слабое пиликанье достигало слуха мистера Бернса, когда он стоял, прислушиваясь, в салоне, у дверей капитанской каюты.

В один прекрасный день он в полном отчаянии ворвался в эту каюту и устроил такую сцену, так рвал себя за волосы и выкрикивал такие страшные проклятия, что укротил надменный дух больного человека. Вода была на исходе, они не прошли и пятидесяти миль в две недели. Им никогда не добраться до Гонконга.

Это было похоже на отчаянное усилие погубить судно и людей. Доказательств не требовалось. Мистер Бернс, утратив всякую сдержанность, приблизил свое лицо к самому лицу капитана и буквально заорал:

— Вам, сэр, недолго остается жить. Но я не могу ждать, пока вы умрете, чтобы повернуть судно. Вы должны это сделать сами. Вы должны это сделать сейчас же!

Человек на диване презрительно огрызнулся:

— Так, по-вашему, мне недолго остается жить?

— Да, сэр, вам немного осталось пробыть на этом свете, — успокаиваясь, сказал мистер

Бернс. — Это видно по вашему лицу.

— По моему лицу, вот как?.. Ну что ж, поворачивайте — и черт с вам-и.

Бернс полетел на палубу, поставил судно по ветру, затем снова сошел вниз, спокойный, но решительный.

— Я взял курс на острова Пуло Кондор, сэр, — сказал он. — Когда мы подойдем к ним, то, если вы еще будете с нами, вы мне скажете, в какой порт вести судно, и я так и сделаю.

Старик бросил на него взгляд, выражавший неукротимую злобу, и медленно, мертвенным тоном произнес ужасные слова:

— Будь на то моя воля, ни судно и никто из вас никогда бы не увидели никакого порта. И я надеюсь, что так оно и будет.

Мистер Бернс был глубоко возмущен. Я думаю, что в ту минуту он был не на шутку испуган. Но, по-видимому, он сумел разразиться таким недвусмысленным смехом, что пришел черед испугаться старику. Он съежился и повернул ему спину.

— И в голове у него было тогда все в порядке, — возбужденно заверил меня мистер Бернс. — Он думал то, что говорил.

Такова была последняя речь покойного капи-

тана. После этого с его уст не сорвалось ни одной связной фразы.

В ту ночь он использовал последний остаток сил, чтобы выбросить свою скрипку в море. Собственно говоря, этого не видел никто, но после его смерти мистер Бернс нигде не мог найти инструмент. Пустой футляр валялся на виду, но скрипки явно не было на судне. Куда же иначе она могла деваться?

— Выбросил за борт свою скрипку! — воскликнул я.

— Безусловно! — возбужденно вскричал мистер Бернс. — И я твердо верю, что он попытался бы взять с собою и судно, если бы это было в человеческой власти. Он вовсе не хотел отвести его на родину. Он не писал своим владельцам, никогда не писал своей старой жене и не собирался писать. Он решил порвать со всем. Вот как оно было. Ему не было дела ни до работы, ни до груза, ни до того, чтобы закончить рейс, — ни до чего. Он хотел просто носиться по морю, пока не погубит судна вместе со всем экипажем.

Мистер Бернс имел вид человека, избежавшего большой опасности. Еще немного — и он воскликнул бы: «Если бы не я!» И откровенная невинность его негодующих глаз забавно подчер-

кивалась заносчивыми усами, которые он крутил и как бы растягивал горизонтально.

Может быть, я улыбнулся бы, если бы не был занят своими собственными ощущениями, которые не были ощущениями мистера Бернса. Я был уже начальником. Мои чувства не могли походить на чувства какого-нибудь другого человека на судне. В этой общине я, точно король в своей стране, стоял особняком.

Я говорю о наследственном короле, а не о простом выборном главе государства. Меня послало сюда управлять агентство, такое же далекое от народа и почти такое же непостижимое для него, как божья милость.

И, подобно члену династии, чувствуя полумистическую связь с мертвецами, я был глубоко возмущен моим непосредственным предшественником.

Этот человек во всем, за исключением возраста, был точь-в-точь тем же, что и я. Однако конец его жизни был настоящим актом предательства, изменой традиции, казавшейся мне непреложной, как только может быть непреложен земной завет. Оказалось, что даже в море человек может стать жертвой злых духов. Я почувствовал на своем лице веяние неведомых сил, творящих

наши судьбы.

Чтобы не дать молчанию слишком затянуться, я спросил мистера Бернса, написал ли он жене капитана. Он покачал головой. Он никому не писал.

Он сразу омрачился. Ему и в голову не приходило писать. У него все время было занято непрерывным наблюдением за погрузкой судна грузчиком китайцем. Для меня это был первый проблеск истинной души старшего помощника, неуклюже обитавшей в теле мистера Бернса.

Он подумал, затем торопливо продолжал с мрачной энергией:

— Да! Капитан умер в самый полдень. Днем я просмотрел его бумаги. На закате я прочел над ним службу, затем повернул судно к северу и привел его сюда. Я… привел его… сюда.

Он ударил кулаком по столу.

— Оно навряд ли пришло бы сюда само, — заметил я. — Но почему вы не пошли в Сингапур?

Он заморгал глазами.

— Ближайший порт, — угрюмо пробормотал он.

Я предложил этот вопрос совершенно невинно, но его ответ (разница в расстоянии была незначительна) и его манера помогли мне разгадать

простую истину. Он отвел судно в порт, где надеялся быть утвержденным в своем временном командовании за отсутствием квалифицированного капитана, которого могли бы поставить над ним.

А Сингапур, как он справедливо предполагал, был полон квалифицированных моряков. Но в своем наивном рассуждении он забыл принять в расчет телеграфный кабель, покоящийся на дне того самого залива, куда он направил судно, которое он, по его мнению, спас от гибели. Отсюда горький привкус нашей беседы. Я ощущал его все более и более явственно — и он был все меньше и меньше мне по вкусу.

— Послушайте, мистер Бернс, — твердо сказал я. — Да будет вам известно, что я не гнался за этим местом. Мне его предложили. Я его принял. Я здесь для того, чтобы прежде всего отвести судно домой, и вы можете быть уверены, что я позабочусь о том, чтобы все, кто находится на борту, исполнили свой долг до конца. Это все, что я имею сказать… сейчас.

Он встал, но вместо того чтобы откланяться, стоял с дрожащими, негодующими губами, глядя на меня в упор, как будто после этого простое приличие требовало, чтобы я исчез с его оскорб-

ленных глаз. Это было трогательно, как всякое очень простое душевное состояние. Я почувствовал к нему жалость — почти симпатию, пока (видя, что я не исчезаю) он не заговорил принужденно-сдержанным тоном.

— Если бы у меня не было дома жены и ребенка, вы можете быть уверены, сэр, что я попросил бы вас отпустить меня, как только вы явились на судно.

Я ответил ему совершенно спокойно, как будто речь шла о каком-то третьем лице.

— А я, мистер Бернс, не отпустил бы вас. Вы подписали условие в качестве старшего помощника, и я надеюсь, что, пока оно не выполнено в последнем порту, вы будете исполнять свои обязанности и по мере сил поможете мне своим опытом.

В его глазах застыло недоверие; но оно не могло устоять перед моим дружелюбием. Слегка взмахнув руками (впоследствии я хорошо узнал этот жест), он выбежал из каюты.

Мы могли бы избавить себя от этого безобидного препирательства. Не прошло и нескольких дней, как уже мистер Бернс горячо умолял меня взять его с собою, тогда как я отделывался только неопределенными ответами. Вся эта история

приняла довольно трагическую окраску.

И эта ужасная проблема была только лишним эпизодом, простым осложнением в общей проблеме, как вывести это судно, — которое было моим со всем своим достоянием и своей командой, со своим телом и душой, теперь дремлющими на этой зачумленной реке, — как вывести его в море.

Мистер Бернс в то время, как еще разыгрывал роль капитана, поторопился подписать фрахтовый контракт, который в идеальном мире, где нет обмана, был бы превосходным документом. Просмотрев его, я сразу понял, сколько нам предстоит хлопот, если только противная сторона не окажется исключительно честной и доступной увещаниям.

Мистер Бернс, с которым я поделился своими опасениями, вздумал обидеться. Он посмотрел на меня своим обычным недоверчивым взглядом и с горечью сказал:

— Вы хотите мне объяснить, что я поступил, как дурак?

Я с неизменной любезностью, которая, казалось, всегда усиливала его удивление, ответил ему, что ничего не хочу объяснять. Я предоставляю это будущему.

И, действительно, будущее принесло много хлопот. Бывали дни, когда я вспоминал капитана Джайлса чуть ли не с отвращением. Его проницательность — будь она проклята — втянула меня в это дело; а сбывшееся его пророчество, что «у меня будет хлопот по горло», придавало всей истории такой вид, словно она была затеяна с целью зло подшутить над моей юной невинностью.

Да. У меня было по горло осложнений, которые в высшей степени ценны, как «опыт». Обыкновенно люди придерживаются высокого мнения о преимуществах опыта. Но в таких случаях опыт всегда означает нечто неприятное, в противоположность прелести и невинности иллюзий.

Должен сказать, что свои иллюзии я быстро утрачивал.

Но я не хочу распространяться об этих поучительных осложнениях; скажу только, что все они сводились к одному слову: задержка.

Люди, выдумавшие поговорку «время — деньги», поймут мое раздражение. Слово «задержка» входило в самые тайники моего мозга, отдавалось там, точно гулкий, сводящий с ума колокол, поражало все мои чувства, принимало черную окраску, горький привкус, убийственный смысл. — Мне очень жаль, что я вижу вас таким

озабоченным.

Право, мне очень жаль…

Это была единственная гуманная речь, которую мне приходилось слышать в то время. И она исходила от доктора — как и надлежит.

Докторам полагается быть гуманными. Но этот человек был таков в действительности. Его речь не была профессиональной. Я не был болен. Но другие болели, потому-то он и посещал судно.

Он был врачом нашей дипломатической миссии и, конечно, также и консульства. Он следил за здоровьем судовой команды, которое было плоховато и, так сказать, висело на волоске. Да. Люди хворали. И, таким образом, время было не только деньги, но и жизнь.

Я никогда не видел такого степенного экипажа. Как заметил мне доктор: «А у вас, как видно, подобрались очень почтенные моряки». Они не только были всегда трезвы, но даже не хотели сходить на берег. Были приняты меры, чтобы как можно больше охранять их от солнца.

Они занимались легкой работой под тентом. И гуманный доктор одобрял меня:

— Ваши распоряжения кажутся мне очень разумными, дорогой капитан.

Трудно выразить, как подбодряли меня эти

слова.

Круглое, полное, обрамленное светлыми бакенбардами лицо доктора было воплощением достоинства и любезности. Он был единственным человеческим существом, принимавшим во мне какое-то участие. При каждом визите он обычно просиживал в каюте не меньше получаса.

Как-то раз я сказал ему:

— По-видимому, единственное, что остается, это применять к ним указанные вами меры, пока мне не удастся вывести судно в море.

Он наклонил голову, закрыл глаза под большими очками и пробормотал.

— Море… несомненно.

Первым членом экипажа, который окончательно свалился, был стюард первый человек, с которым я говорил на судне. Его отвезли на берег (с симптомами холеры), и неделю спустя он умер. Затем, пока я еще был под ошеломляющим впечатлением этого первого удара, нанесенного климатом, мистер Бернс слег в жестоком жару, не сказав никому ни слова. Я думаю, что он отчасти довел себя до этой болезни своим нервничанием; климат доделал остальное с быстротою невидимого чудовища, притаившегося в воздухе, в воде, в грязи речного берега. Мистер Бернс был

обреченной жертвой.

Я нашел его лежащим на спине, с угрюмым взглядом; от него веяло жаром, как от печки. Он едва отвечал на мои вопросы и только огрызался:

— Неужели человек не может полежать, когда у него болит голова — раз в жизни?

В тот вечер, сидя в салоне после обеда, я слышал, как он непрерывно бормотал в своей каюте. Рэнсом, убиравший со стола, сказал мне:

— Боюсь, сэр, что я не смогу ухаживать как следует за старшим помощником. Мне придется большую часть дня быть в камбузе.

Рэнсом был коком. Старший помощник указал мне на него в первый же день. Он стоял на палубе, скрестив руки на широкой груди, и глядел на реку.

Даже на расстоянии его хорошо сложенная фигура, его характерная для моряка поза бросались в глаза. При более близком знакомстве умные, спокойные глаза; интеллигентное лицо, дисциплинированная независимость манер производили приятное впечатление. Когда же мистер Бернс сказал мне, что это лучший моряк на судне, я выразил удивление, что в цвете молодости и с такой наружностью он поступил на

судно коком.

— Это из-за сердца, — сказал мистер Бернс. — У него сердце не в порядке. Ему не следует переутомляться, а то он может вдруг упасть мертвым.

И он был единственным, кого не коснулся климат — может быть, потому, что, нося в груди смертельного врага, он приучил себя систематически сдерживать чувства и движения. Тому, кто знал тайну, это было ясно по его манерам.

Когда умер бедный стюард и так как в этом восточном порту его нельзя было заменить белым человеком, Рэнсом предложил взять на себя двойную работу.

— Я могу справиться, сэр, если буду делать все потихоньку, — заверил он меня.

Но нельзя же было ожидать, чтобы он взял на себя еще и уход за больными. Кроме того, доктор решительно потребовал, чтобы мистера Бернса отправили на берег.

С двумя матросами по бокам, поддерживавшими его под мышки, старший помощник сошел по сходням более угрюмый, чем когда-либо. В коляске мы обложили его подушками, и он прерывисто, с усилием сказал:

— Ну вот… вы и добились… чего хотели… избавились… от меня.

— Вы никогда в жизни не были в большем заблуждении, мистер Бернс, спокойно сказал я, заставив себя улыбнуться ему; и коляска покатила к чему-то вроде санатория, кирпичному павильону, который находился на участке доктора.

Я регулярно навещал мистера Бернса. После первых нескольких дней, когда он не узнавал никого, он принимал меня так, как будто я пришел или насладиться видом поверженного врага, или же подольститься к глубоко обиженному человеку. Бывало либо так, либо этак, смотря по настроению и фантазии больного. Во всяком случае, он ухитрялся дать мне это понять даже тогда, когда казался слишком слабым, чтобы говорить. Я обращался с ним с неизменной любезностью.

И вот однажды сквозь все это безумие прорвалась волна откровенного панического страха.

Если я оставлю его в этом гиблом месте, он умрет. Он это чувствует, он в этом уверен. Но у меня не хватит духу оставить его здесь. У него в Сиднее жена и ребенок.

Он выпростал из-под покрывавшей его простыни исхудалые руки и сжал свои иссохшие когти. Он умрет! Он умрет здесь…

Он ухитрился даже сесть на постели, но только

на миг, а когда он упал на подушки, я и в самом деле подумал, что он сейчас умрет. Я позвал санитара бенгальца и выбежал из комнаты.

На следующий день он совсем расстроил меня, возобновив свои мольбы. Я ответил уклончиво и оставил его — воплощение мрачного отчаяния. Еще через день я нехотя вошел к нему в комнату, и он сейчас же атаковал меня гораздо более сильным голосом и с поразительным изобилием аргументов. Он изобразил свое положение с какой-то безумной энергией и кончил вопросом, как мне понравилось бы иметь на своей совести смерть человека? Он требовал от меня обещания, что я не выйду в море без него.

Я сказал, что должен раньше посоветоваться с доктором. Он поднял крик. С доктором! Ни за что! Это было бы смертным приговором.

Усилие изнурило его. Он закрыл глаза, но продолжал тихо бормотать. Я возненавидел его с самого начала.

Покойный капитан его тоже ненавидел. Желал ему смерти. Желал смерти всем матросам…

— Чего ради вы действуете заодно с этим зловредным покойником, сэр? Он еще доберется и до вас, — закончил он, тупо мигая остекленевшими глазами.

— Мистер Бернс, — вскричал я, очень расстроенный, — что вы такое говорите?

Он, по-видимому, пришел в себя, хотя был слишком слаб, чтобы вздрогнуть.

— Не знаю, — вяло сказал он. — Но не спрашивайте доктора, сэр. Мы с вами моряки. Не спрашивайте его, сэр.

Когда-нибудь, может быть, у вас у самого будут жена и ребенок.

И он снова стал вымаливать у меня обещание, что я не оставлю его здесь. У меня хватило духу не дать ему этого обещания. Потом такая суровость показалась мне преступной, ибо решение мое было принято. Этот распростертый человек, едва дышавший и снедаемый страхом, был неотразим. А кроме того, он сумел найти нужное слово. Мы с ним были моряки. Это давало ему права, потому что у меня не было другой семьи. Что касается жены и детей (когда-нибудь), то этот аргумент не имел силы. Он звучал только странно.

Я не мог представить себе прав более бесспорных и более поглощающих, чем права этого корабля, этих людей, завлеченных нелепыми коммерческими осложнениями в эту реку, точно в какую-то убийственную ловушку.

Как бы то ни было, я почти пробился. Пробился

к морю.

К морю — чистому, здоровому и дружелюбному. Еще три дня.

Эта мысль поддерживала и влекла меня на обратном пути к судну. В салоне меня приветствовал голос доктора, а затем его крупная фигура появилась справа из запасной каюты, где стоял аптечный шкаф, тщательно принайтовленный к койке.

Узнав, что меня нет на судне, он, по его словам, вошел туда осмотреть запас лекарств, перевязочного материала и прочего. Все было в полном порядке.

Я поблагодарил его; я как раз собирался попросить его об этом, потому что через несколько дней, как ему известно, мы должны выйти в море, где все наши неприятности наконец окончатся.

Он с серьезностью выслушал меня и ничего не ответил.

Но, когда я сообщил ему свое решение относительно мистера Бернса, он сел рядом со мной и, дружески положив мне руку на плечо, попросил меня подумать, чему я себя подвергаю.

Мистер Бернс может еще кое-как вынести переезд на судно. Но рецидива лихорадки он не перенесет. Мне предстоит шестидесятидневное

плаванье; сначала мы пойдем меж островов и мелей, потом, вероятно, встретим непогоду.

Как я могу идти на риск и двинуться в путь один, без старшего помощника и с мальчишкой — младшим?..

Он мог бы прибавить, что к тому же это было мое первое командование. Вероятно, он подумал об этом, потому что вдруг запнулся. Я же об этом не забывал ни на минуту.

Он горячо советовал мне вызвать из Сингапура по телеграфу старшего помощника, даже если бы мне пришлось отложить отплытие на неделю.

— Ни на сутки, — сказал я. От одной этой мысли меня бросило в жар. Матросы были более или менее здоровы, все до одного, и это был как раз подходящий момент, чтобы увезти их отсюда. Только бы выйти в море, а там мне уже ничто не страшно. Море — единственное лекарство от всех моих невзгод.

Стекла очков доктора были направлены на меня, точно две лампы, исследующие искренность моего решения. Он открыл рот, как будто готовясь продолжать спор, но снова закрыл его, не сказав ничего. Мне так живо представился бедный Бернс, изнуренный, беспомощный и тревожный, что это видение тронуло меня больше,

чем действительность, с которой я расстался всего час назад. Оно было очищено от недостатков его личности, и я не мог противостоять ему.

— Послушайте, — сказал я. — Если только вы не заявите мне официально, что этого человека нельзя трогать с места, я распоряжусь перенести его завтра же на судно и на следующее утро выведу судно из реки, хотя бы даже мне пришлось несколько дней простоять на якоре у устья, чтобы приготовиться к плаванию.

— О! Я распоряжусь сам, — сейчас же сказал доктор. — Я говорил только как друг, как доброжелатель и тому подобное.

Он встал со своим обычным полным достоинства простодушием и горячо и, как мне показалось, несколько торжественно пожал мне руку. Когда мистер Бернс на носилках появился у сходней, доктор сам шел рядом с носилками. Программа была изменена только в том отношении, что этот перенос был отложен до последней минуты, в самое утро нашего отплытия.

Это было через час после восхода солнца. Доктор помахал мне с берега своей большой рукой и сейчас же пошел обратно к рессорной двуколке, которая следовала за ним налегке. Мистер Бернс, когда его несли по шканцам, имел вид безды-

ханного существа. Рэнсом пошел вниз, чтобы устроить его в его каюте. Мне пришлось остаться на палубе, чтобы присмотреть за судном, так как буксирный пароход уже принял наш конец.

Всплеск падающих в воду швартовов произвел полный переворот в моих чувствах. Это было похоже на облегчение, какое испытываешь, когда проснешься после кошмара. Но, когда корабль пошел вниз по реке, прочь от грязного восточного города, я не ощутил того подъема, которого ждал от этого вожделенного мгновения. Несомненно было только одно: ослабело напряжение, и это выразилось в чувстве усталости после бесславной битвы.

Около полудня мы бросили якорь на расстоянии мили от устья. День был хлопотный для всего экипажа. Наблюдая за работой с юта, где я оставался все время, я заметил в людях словно все ту же вялость, вызванную этими шестью неделями, проведенными во влажном зное реки.

Первый свежий ветерок разгонит эту вялость. Теперь же был полный штиль. Я пришел к заключению, что второй помощник — неоперившийся юнец с малообещающей физиономией — не был, мягко выражаясь, вылеплен из того драгоценного теста, из которого сделана правая рука команди-

ра. Но, выглянув на палубу, я с радостью уловил несколько улыбок на лицах матросов, которых я еще не успел как следует разглядеть. Избавившись от убийственной сутолоки береговых дел, я почувствовал себя близким к ним и в то же время немного чужим, точно долго пропадавший скиталец среди своих родичей.

Рэнсом непрерывно носился между камбузом и кают-компанией. Было приятно смотреть на него. Он положительно обладал грацией. Он единственный из всего экипажа не хворал в порту ни одного дня. Но мне, знавшему об этом больном сердце в его груди, было ясно, что он сдерживает естественную для моряка живость движений. Казалось, он нес на себе что-то очень хрупкое или очень взрывчатое и все время помнил об этом.

Раз или два мне представился случай заговорить с ним.

Он отвечал своим приятным, спокойным голосом, со слабой, слегка грустной улыбкой. Мистер Бернс, кажется, спит. Ему, по-видимому, удобно.

После заката я снова вышел на палубу и не увидел ничего, кроме гладкого водного простора. Тонкой однообразной полосы берега нельзя было различить. Вокруг судна вставал мрак, точно таинственная эманация немых и одиноких вод.

Я облокотился о поручни и прислушался к ночным теням. Ни звука. Мое судно могло бы быть планетой, головокружительно летящей по предначертанному ей пути в бесконечно-безмолвном пространстве. Я схватился за поручни, словно меня покинуло чувство равновесия.

Какая нелепость! Я нервно крикнул:

— Эй! Вахтенный!

Немедленный ответ с бака: «Да, сэр» — разрушил чары. Вахтенный быстро взбежал по кормовому трапу. Я велел ему сообщить мне сейчас же о малейшем признаке бриза.

Спустившись вниз, я заглянул к мистеру Бернсу. По правде сказать, я не мог избежать этого, так как дверь была открыта. Бедняга так осунулся, что в этой белой каюте, под белой простыней, от исхудалой головы на белой подушке бросались в глаза только его рыжие усы, точно что-то искусственное — усы из магазина, выставленные здесь в резком свете стенной лампы без абажура.

Я с удивлением смотрел на него, а он, утверждая свое бытие, открыл глаза и повел ими в мою сторону. Это было едва заметно.

— Мертвый штиль, мистер Бернс, — покорно произнес я.

Мистер Бернс вдруг забормотал что-то несураз-

ное неожиданно внятным голосом. Тон его речи был очень странный: не то чтобы болезненный, а как бы не от мира сего.

В нем было что-то неземное. Что касается содержания, то оно как будто сводилось к тому, что это вина «старика» — покойного капитана, который засел там, под водой, с каким-то злым умыслом. Это была жуткая история.

Я выслушал до конца; затем, войдя в каюту, положил ему руку на лоб. Лоб был прохладный. Он заговаривался только от крайней слабости. Вдруг, как будто только теперь заметив меня, он своим обычным голосом, конечно, очень слабым, — с сокрушением спросил:

— Нет никакой надежды выйти в море, сэр?

— Какой смысл сниматься с якоря только для того, чтобы дрейфовать, мистер Бернс? — ответил я.

Он вздохнул, и я предоставил ему пребывать в неподвижности. Жизнь его висела на волоске, так же, как и его рассудок. Я был подавлен своей одинокой ответственностью. Я пошел к себе в каюту поискать утешения во сне, но не успел я закрыть глаз, как вахтенный пришел доложить, что поднимается легкий бриз.

— Достаточный, чтобы выйти в море, — ска-

зал он.

И так оно и было: достаточный, но не больше. Я приказал послать людей на брашпиль, ставить паруса и поднять топселя.

Но к тому времени ветерок уже совсем улегся. Тем не менее я выровнял реи и привел все в готовность. Я не собирался отказаться от попытки.

Часть вторая

Глава четвертая

С поднятым якорем, одетое в парусину до самых клотиков, мое судно стояло неподвижно, точно модель корабля, поставленная на отливающий светом и тенями полированный мрамор. Было невозможно отличить землю от воды в загадочном спокойствии огромных мировых сил. Мною внезапно овладело нетерпение.

— Неужели оно совсем не слушается руля? — раздраженно сказал я человеку, чьи сильные загорелые руки обхватывали рукоятки штурвала, выделяясь во мраке, точно символ воли человеческого рода, притязающего руководить своей судьбой.

Он отвечал:

— Нет, сэр, оно медленно, но идет.

— Держать на юг.

— Есть, сэр.

Я зашагал по юту. Кроме звука моих шагов, не было слышно ничего, пока рулевой не заговорил снова:

— На румбе, сэр.

Я почувствовал легкое стеснение в груди, прежде чем объявить первый курс моего первого судна

в молчаливой ночи, тяжелой от росы и сверкающей звездами. Было что-то завершающее в этом действии, обрекавшем меня на бесконечную бдительность и одинокий труд.

— Так держать, — сказал я наконец, — курс на юг.

— Есть курс на юг, — как эхо отозвался рулевой.

Я отослал второго помощника и вахтенных и остался на вахте, шагая по палубе в прохладе дремотных часов, предшествующих заре.

Легкие порывы ветра то налетали, то замирали, и всякий раз, когда они были настолько сильны, что будили черную воду, журчанье у борта пронизывало мое сердце нежным крещендо радости и быстро затихало. Я был глубоко утомлен. Даже звезды, казалось, устали ждать рассвета. Он наступил наконец — перламутровое сияние в зените, какого я никогда раньше не видел в тропиках, тусклое, почти серое, странно напоминавшее высокие широты. С бака раздался голос дозорного:

— Слева по носу земля, сэр.

— Хорошо.

Облокотясь о поручни, я даже не поднимал глаз. Движение судна было незаметно. Вскоре

Рэнсом принес мне утреннюю чашку кофе. Выпив ее, я посмотрел вперед и в неподвижной полосе яркого оранжевого света увидел низкий силуэт земли, точно вырезанный из черной бумаги и, казалось, легко, как пробка, плававший по воде. Но восходящее солнце превратило его в темный пар, в сомнительную густую тень, дрожащую в горячем блеске.

Вахта кончала мыть палубы. Я спустился вниз и остановился у двери мистера Бернса (он не выносил, чтобы она была закрыта), но не решался заговорить с ним, пока он не повел глазами. Я сообщил ему новость.

— На рассвете показался мыс Лайент. В пятнадцати милях.

Он пошевелил губами, но я не услышал ни звука, пока не приложил к ним уха и не уловил ворчливого замечания:

— Это называется ползти… Не везет.

— Во всяком случае, лучше, чем стоять на месте, — покорно сказал я и предоставил его мыслям и фантазиям, осаждавшим этого безнадежно простертого человека.

Попозже, когда второй помощник сменил меня, я бросился на койку и часа на три нашел забвение. Оно было таким полным, что, проснув-

шись, я был в недоумении, где я. Затем наступило огромное облегчение при мысли: на борту моего судна! В море! В море!

В иллюминатор я видел тихий, залитый солнцем горизонт. Горизонт безветренного дня. Но одного его простора было довольно, чтобы дать мне ощущение удачного побега, минутное упоение свободой.

Я вышел в салон с более легким сердцем, чем все эти дни. Рэнсом стоял у буфета, собираясь накрывать на стол для первого обеда в море. Он повернул голову, и что-то в его глазах положило конец моему скромному ликованию.

Я непроизвольно спросил:

— Что случилось? — совершенно не ожидая ответа, который получил. Он был дан со сдержанным спокойствием, характерным для этого человека:

— Боюсь, что мы не развязались с болезнями, сэр.

— Не развязались с болезнями? В чем дело?

Тогда он сообщил мне, что ночью двое матросов заболели лихорадкой. У одного жар, а у другого озноб, но он думает, что в общем это одно и то же. Я тоже так думал.

Эта новость была для меня ударом.

— Так вы говорите, у одного жар, а у другого озноб?

Да, мы не развязались с болезнями. Что, у них очень больной вид?

— Неважный, сэр.

Рэнсом смотрел мне прямо в глаза. Мы улыбнулись друг другу. Улыбка Рэнсома была, как всегда, немного грустной, моя же, должно быть, довольно хмурой, соответствовавшей моему тайному отчаянию.

Я спросил:

— Был сегодня утром хоть слабый бриз?

— Трудно сказать, сэр. Но мы все-таки все время подвигаемся. Земля впереди кажется немножко ближе.

То-то и есть. Немножко ближе. Между тем, будь у нас хоть немножко больше ветра, хоть чуточку больше, мы могли бы, мы должны были бы уже быть на траверсе Лайента и все увеличивать расстояние между судном и этим зараженным берегом. И дело было не только в расстоянии. Мне казалось, что более сильный ветер развеял бы заразу, приставшую к судну. Потому что она явно пристала к судну. Два человека — один в жару, другой в ознобе. Мне решительно не хотелось идти смотреть на них.

К чему? Яд есть яд. Тропическая лихорадка есть тропическая лихорадка. Но то, что она протянула свои лапы за нами, через море, казалось мне необыкновенной и непозволительной вольностью. Мне не верилось, что это что-нибудь худшее, чем последняя отчаянная вылазка болезни, от которой мы бежали к чистому дыханию моря.

Если бы только это дыхание было немножко сильнее! Как бы то ни было, против лихорадки существовал хинин.

Я пошел в запасную каюту, где стоял аптечный шкаф, чтобы приготовить две дозы. Я открыл его, полный веры, что человек открывает чудотворную раку. Верхняя часть была занята коллекцией четырехугольных склянок, похожих друг на друга, как горошины. Под их аккуратным строем было два выдвижных ящика, битком набитых всякой всячиной — бумажными пакетиками, бинтами, коробками с ярлыками. В одном из отделений нижнего ящика хранился наш запас хинина.

Здесь было пять бутылок, все круглые и все одного размера. Одна была заполнена на одну треть. Другие четыре еще завернуты в бумагу и запечатаны. Но неожиданностью для меня был

лежавший на них конверт.

Квадратный конверт, явно взятый из судового запаса канцелярских принадлежностей.

Он лежал так, чтобы я мог видеть, что он не запечатан, и, схватив его и перевернув, я убедился, что он адресован мне. Он содержал листок почтовой бумаги, который я развернул со странным ощущением чего-то таинственного, но без всякого возбуждения, как во сне, когда люди сталкиваются с необычайным и сами поступают необычно.

«Дорогой капитан», — начиналось письмо, но я прежде всего посмотрел на подпись. Оно было от доктора. Помечено тем днем, когда, вернувшись из госпиталя от мистера Бернса, я застал добряка доктора ожидающим меня в каюте и когда он сказал мне, что, поджидая меня, занимался осмотром моего аптечного шкафа. Как странно!

Полагая, что я вернусь с минуты на минуту, он развлекался писанием мне письма, а затем, когда я вошел, поспешил засунуть его в аптечный шкаф. Довольно странный поступок. Я в недоумении обратился к письму.

Крупным, торопливым, но разборчивым почерком этот славный человек — из любезности или, что более вероятно, побуждаемый непреодоли-

мым желанием выразить свое мнение, которым он не хотел преждевременно омрачать мои надежды, — предостерегал меня от чрезмерных упований на благодетельное действие моря.

«Я не хотел усугублять ваше беспокойство, обескураживая вас, — писал он. — Боюсь, что, с точки зрения медика, вашим неприятностям далеко еще не конец». Словом, он думает, что мне придется бороться с вероятным рецидивом тропической лихорадки. К счастью, у меня большой запас хинина. Я должен возложить на него упование и упорно давать его, и здоровье экипажа несомненно улучшится.

Я скомкал письмо и сунул его в карман. Рэнсом отнес больным в кубрик две большие дозы. Что касается меня, то я не пошел на палубу. Я подошел к двери мистера Бернса и сообщил ему еще и эту новость.

Невозможно сказать, какое впечатление она произвела на него. Сначала я подумал, что у него отнялся язык.

Голова его ушла глубоко в подушку. Но он все-таки мог шевелить губами и сказал, что чувствует себя гораздо крепче: утверждение удивительно неправдоподобное.

В тот день после полудня я стал на вахту, точно

так оно и следовало. Великая знойная тишина окутывала судно и, казалось, держала его неподвижным в пылающем окружении, составленном из двух оттенков синевы. Бессильные порывы горячего ветра замирали, еле коснувшись парусов.

И все-таки судно двигалось. Двигалось безусловно.

Потому что, когда садилось солнце, мы уже миновали мыс Лайент и оставили его позади: зловещую тень, исчезающую в последних лучах заката.

Вечером, под ярко горевшей лампой мистер Бернс, казалось, выступил более выпукло на поверхности своей постели. Словно какая-то гнетущая рука была снята с него. Он ответил на мои слова сравнительно длинной, связной речью. Он энергично заявлял о своем существовании. Если этот стоячий зной не задушил его, сказал он, то теперь он уверен, что через несколько дней будет в состоянии подняться на палубу и помочь мне.

Пока он говорил, я дрожал от страха, как бы этот прилив энергии не стоил ему жизни тут же, на моих глазах.

Но не стану отрицать, что в его готовности было что-то утешительное. Я ответил подобающей

репликой, но указал ему, что единственное, что может нам действительно помочь, это ветер, попутный ветер.

Он нетерпеливо заворочал головой на подушке. И уже ничего утешительного не было в бессмысленном вздоре, который он понес о покойном капитане, об этом старике, погребенном на широте 8°20′», как раз на нашем пути, засевшем в засаде у входа в залив.

— Неужели вы все еще думаете о покойном капитане, мистер Бернс? — сказал я. — По-моему, мертвые не чувствуют вражды к живым. Они не интересуются ими.

— Вы его не знаете, — слабо прошептал он.

— Да, я его не знал, и он меня не знал. И, стало быть, он не может ничего иметь против меня.

— Да. Но ведь мы, остальные, все здесь, на борту, — настаивал он.

Я чувствовал, какой страшной угрозой для неприступной твердыни здравого смысла был этот жуткий безумный бред. И я сказал:

— Вам нельзя так много говорить. Вы устанете.

— И потом самое судно, — шепотом настаивал он.

— Ни слова больше, — сказал я, подойдя к нему и положив руку на его прохладный лоб.

Он доказал мне, что эта ужасная бессмыслица коренилась в самом человеке, а не в болезни, которая, по-видимому, лишила его всякой силы, умственной и физической, оставив одну только навязчивую идею.

В течение ближайших нескольких дней я избегал разговоров с мистером Бернсом. Только, проходя мимо его двери, я бросал ему второпях несколько ободряющих слов.

Думаю, что если бы у него хватило сил, он не раз окликнул бы меня. Но сил не хватало. Тем не менее Рэнсом как-то раз заметил мне, что старший помощник «чудесно поправляется».

— Он не болтал в последнее время какой-нибудь чепухи? — небрежно спросил я.

— Нет, сэр. — Рэнсом был поражен таким прямым вопросом; но, помолчав, невозмутимо прибавил:

— Он говорил мне сегодня утром, — сэр, что жалеет, зачем он похоронил покойного капитана как раз на пути судна, у выхода из залива.

— Ну разве это не чепуха? — спросил я, доверчиво глядя на умное, спокойное лицо, на которое таящаяся в груди болезнь наложила прозрачный покров заботы.

Рэнсом не знал. Он не думал об этом. И со

слабой улыбкой он понесся дальше, к своим нескончаемым обязанностям, со своей обычной сдержанной живостью.

Прошло еще два дня. Мы немного — очень немного — выдвинулись в более широкий простор Сиамского залива.

При всем подъеме, вызванном первым командованием, свалившимся мне в руки так неожиданно благодаря посредничеству капитана Джайлса, у меня было тревожное чувство, что за такую удачу, пожалуй, придется так или иначе расплачиваться. Я произвел профессиональный подсчет своих шансов. Для этого я был достаточно компетентен. По крайней мере я так думал. У меня было сознание своей подготовленности, которое бывает только у человека, следующего любимому призванию. Это сознание казалось мне самой естественной вещью в мире. Такой же естественной, как дыхание. Мне казалось, что я не мог бы жить без него.

Не знаю, чего я ждал. Может быть, просто той особой напряженности бытия, которая есть квинтэссенция юношеских стремлений. Во всяком случае, я не ждал урагана.

Для этого я был достаточно осведомлен. В Сиамском заливе ураганов не бывает. Но не ждал я

и того, что окажусь связанным по рукам и ногам так безнадежно, как это выяснилось в ближайшие же дни.

Не то чтобы злые чары держали нас всегда в неподвижности. Таинственные течения носили нас то туда, то сюда со скрытой силой, о которой свидетельствовали только меняющиеся очертания островов, окаймляющих восточный берег залива. Бывали и ветры, порывистые и обманчивые.

Они возбуждали надежды только для того, чтобы сменить их самым горьким разочарованием, сулили движение вперед, сводившееся к тому, что нас относило назад, кончались вздохами, умирали в немой тишине, в которой течения хозяйничали на свой лад — на свой враждебный лад.

Остров Ко-ринг, большой, черный вздымающийся кряж среди множества крошечных островков, лежащий на зеркальной воде, точно тритон среди пескарей, был как бы центром рокового круга. Казалось невозможным уйти от него. День за днем он оставался в виду. Не раз при попутном бризе я пеленговал его в быстро наступающих сумерках, думая, что делаю это в последний раз. Тщетная надежда. Ночь с порыви-

стым ветром уничтожала весь наш временный выигрыш, и восходящее солнце обрисовывало черный рельеф острова Ко-ринг, казавшегося еще более бесплодным, негостеприимным и угрюмым.

— Честное слово, мы точно заколдованы, — сказал я однажды мистеру Бернсу со своей обычной позиции в дверях.

Он сидел в койке. Его возвращение в мир живых шло быстрыми шагами, хотя нельзя было сказать, чтобы оно уже завершилось. Он кивнул мне своей хрупкой, костистой головой, выражая мудрое и загадочное согласие.

— О да, я знаю, что вы хотите сказать, — заметил я. — Но не можете же вы ожидать, чтобы я поверил, будто какой-то мертвец обладает властью поставить вверх дном метеорологию этой части света. Хотя, конечно, впечатление такое, что с ней творится что-то неладное. Все ветры, как морские, так и береговые, разбились на маленькие кусочки, мы не можем и пяти минут кряду положиться на них.

— Теперь уж я скоро смогу подняться на палубу, — пробормотал мистер Бернс, — и тогда увидим.

Не знаю, подразумевал ли он под этим обе-

щание сразиться со сверхъестественным злом. Во всяком случае, это не был тот род помощи, в каком я нуждался. С другой стороны, я жил на палубе буквально день и ночь, чтобы не упустить ни одного шанса продвинуть судно хоть немножко к югу. Я видел, что старший помощник еще чрезвычайно слаб и не совсем освободился от своей навязчивой идеи, которая казалась мне только симптомом его болезни. Как бы то ни было, больного не следовало обескураживать.

Я сказал:

— Я буду вам очень рад, мистер Бернс. Если ваша поправка будет идти так же, как шла до сих пор, вы скоро станете одним из самых здоровых людей на корабле.

Это ему понравилось, но чрезвычайная худоба страшно исказила его самодовольную улыбку — показались длинные зубы под рыжими усами.

— А разве матросы не поправляются, сэр? — рассудительно спросил он, и лицо его выразило самое разумное беспокойство.

Я ответил ему только неопределенным жестом и отошел от двери. Дело в том, что болезнь играла с нами так же капризно, как ветры. Она переходила от одного к другому, касаясь то более легкой, то более тяжелой рукой, всегда, однако, остав-

лявшей свой след, расслабляя одних, укладывая в постель других, покидая этого, возвращаясь к тому, так что у всех у них был теперь больной вид и затравленный и боязливый взгляд. Рэнсом и я, единственные совершенно нетронутые болезнью, ходили среди них, усердно раздавая хинин. То была двойная борьба.

Противная погода преграждала нам фронт, а болезнь наступала с тылу. Я должен сказать, что люди держались молодцами. Они с готовностью непрерывно брасопили реи, но их тело утратило всякую упругость, и, когда я смотрел на них с юта, я не мог отделаться от ужасного впечатления, что они движутся в отравленном воздухе.

Внизу, в своей каюте, мистер Бернс поправился настолько, что мог не только сидеть, но даже приподнимать ноги. Обхватив их костлявыми руками, похожий на одушевленный скелет, он издавал глубокие нетерпеливые вздохи.

— Главное, сэр, — говорил он мне всякий раз, когда я только давал ему эту возможность, — главное перевалить за восемь градусов двадцать минут широты. Раз мы перевалим, все будет хорошо.

Сначала я только улыбался ему, хотя, видит бог, мне было не до улыбок. Но наконец я потерял

терпение.

— О да. Широта восемь градусов двадцать минут. Это где вы похоронили покойного капитана, не правда ли? — Затем сурово сказал: — А вы не думаете, мистер Бернс, что пора бы уже вам бросить всю эту чепуху?

Он вытаращил на меня свои ввалившиеся глаза с видом непобедимо упрямым. Но удовольствовался тем, что едва слышно пробормотал что-то вроде: «Я не удивлюсь... если он... еще сыграет с нами... какую-нибудь скверную штуку».

Нельзя сказать, чтобы такие моменты, как этот, действовали благотворно на мою решимость. Все эти невзгоды начинали на мне сказываться. В то же время я чувствовал презрение к этой скрытой слабости моей души. Я пренебрежительно говорил себе, что надо что-нибудь куда более серьезное, чтобы хоть чуточку подорвать мое мужество.

Я не знал тогда, какое неожиданное и близкое испытание ждет его.

Это случилось на следующий же день. Солнце встало за южным отрогом Ко-ринга, который все еще, точно злой спутник, торчал за левым бортом. Самый его вид был мне ненавистен. В течение ночи мы все время кружили на месте,

снова и снова переставляя реи при каждом, большей частью воображаемом, порыве ветра. Затем, как раз перед восходом солнца, поднялся на час необъяснимый, упорный встречный ветер, прямо нам в лоб. Это была бессмыслица.

Он не соответствовал ни времени года, ни увековеченному в книгах опыту моряков, ни виду неба. Его можно было объяснить только злой волей. Он относил нас далеко с нашего курса; и если бы мы прогуливались для собственного удовольствия, это был бы очаровательный ветерок, с проснувшейся игрою моря, с ощущением движения и чувством непривычной свежести. Потом вдруг, словно не желая продолжать жалкую шутку, ветер упал и совершенно стих меньше чем в пять минут. Судно, покачиваясь, встало носом по ветру; успокоившееся море отливало блеском стальной доски.

Я сошел вниз не потому, что хотел отдохнуть, а просто потому, что не мог больше смотреть на это. Неутомимый Рэнсом хлопотал в салоне. У него вошло в обыкновение регулярно по утрам давать мне неофициальный отчет о здоровье экипажа.

Он отвернулся от буфета со своим обычным приятным, спокойным видом. На его умном лбу

не было ни тени.

— Сегодня утром многим довольно худо, сэр, — спокойным тоном сказал он.

— Что? Все свалились?

— Собственно, слегли только двое, сэр, но…

— Это их доконала последняя ночь. Нам пришлось травить и выбирать все время.

— Я слышал, сэр. Я подумывал выйти и помочь, но вы знаете…

— Конечно. Вы не должны это делать… А вот матросы лежали ночью на палубе. Это для них не хорошо.

Рэнсом согласился. Но что поделаешь, ведь матросы не дети, за ними не углядишь. Кроме того, их нельзя осуждать за то, что они ищут на палубе хоть какой-нибудь прохлады и воздуха. Он сам-то, конечно, не делает этого.

Он был и в самом деле благоразумный человек. Но было бы жестокостью сказать, что другие не благоразумны.

Последние несколько дней явились для нас как бы испытанием огненной печью. Нельзя было сердиться на их столь свойственную людям неосторожность, на их желание использовать минуты облегчения, когда ночь приносит иллюзию прохлады, а звезды мерцают сквозь тяжелый,

отягощенный росою воздух. К тому же большинство из них так ослабело, что всем, кто еще мог кое-как держаться на ногах, приходилось стоять на брасах. Нет, не стоило увещевать их. Но я твердо верил, что хинин им очень полезен.

Я верил в него. Я возложил на него все свои упования.

Он спасет экипаж, судно, своими целебными свойствами разрушит чары, лишит время всякого значения, сделает погоду лишь преходящей заботой и, подобно магическому порошку, действующему против загадочных бедствий, охранит первый рейс моего судна от злых сил безветрия и лихорадки. Я считал его более драгоценным, чем золото, и в противоположность золоту, которого, кажется, никогда не бывает достаточно, на судне имелся достаточный запас его. Я пошел за ним с намерением развесить дозы. Я протянул руку с чувством человека, достающего верную панацею, взял новую бутылку и развернул обертку. При этом я заметил, что края обертки, как вверху, так и внизу, не запечатаны…

Но зачем описывать все молниеносные стадии ужасного открытия? Вы уже угадали правду. Передо мной была обертка, бутылка и белый порошок в ней, какой-то белый порошок. Но не

хинин. Одного взгляда на него было достаточно. Помню, что в тот самый миг, когда я взял бутылку, еще прежде, чем я снял обертку, вес предмета, который я держал в руке, послужил мне внезапным предостережением. Хинин легок, как пух; а мои нервы, должно быть, были напряжены до необыкновенной степени чувствительности. Я выронил бутылку, которая разбилась вдребезги.

Порошок — неведомо какой — заскрипел у меня под ногами. Я схватил следующую бутылку, затем следующую. Их вес красноречиво говорил сам за себя. Одна за другой они падали, разбиваясь у моих ног, не потому, чтобы я бросал их в отчаянии, а просто они выскальзывали из моих пальцев, как будто это открытие было мне не под силу.

Факт остается фактом: самая сила душевного удара помогает человеку перенести его, вызывая нечто вроде временной нечувствительности. Я вышел из каюты оглушенный, словно что-то тяжелое упало мне на голову.

В другом конце салона, через стол, Рэнсом, с пыльной тряпкой в руке, уставился на меня, раскрыв рот. Не думаю, чтобы у меня был безумный вид. Но вполне возможно, что я влетел в каюту впопыхах, потому что я инстинктивно спешил на палубу. Вот вам образчик тренировки, ставшей

инстинктом. Трудности, опасности, проблемы, связанные с судном в открытом море, должны быть встречены на палубе.

Так я и поступил инстинктивно; это можно считать доказательством того, что на миг я лишился рассудка.

Несомненно одно: я утратил равновесие и стал жертвой порывов, потому что на середине трапа я повернул и бросился к двери каюты мистера Бернса. Его дикий вид положил конец моему умственному расстройству. Он сидел в своей койке; тело его казалось бесконечно длинным, голова слегка склонилась набок с жеманным самодовольством. Его дрожащие руки были не толще крепкой трости.

В одной из них он держал блестящие ножницы, пытаясь у меня на глазах вонзить их себе в горло.

Я, пожалуй, пришел в ужас, но это был ужас второго сорта, недостаточно сильный, чтобы заставить меня заорать что-нибудь вроде: «стой!..», «господи!», «что вы делаете?»

В действительности же он, переоценивая свои возвращающиеся силы, трясущейся рукой пробовал остричь отросшую густую рыжую бороду; на коленях у него было разостлано широкое

полотенце, и жесткие волосы, похожие на кусочки медной проволоки, падали на него из-под ножниц.

Он повернул ко мне лицо, такое фантастически забавное, какого не увидишь в самых безумных снах: одна щека его была вся косматая, точно покрытая вздутым пламенем, другая — голая и впалая, с нетронутым длинным усом, одиноким и свирепым. Я злобно, в шести словах, без пояснений, прокричал ему о своем открытии, а он смотрел на меня, словно пораженный громом, с раздвинутыми ножницами в руках.

Глава пятая

Я услышал, как звякнули ножницы, выскользнувшие из его руки, заметил, как опасно перегнулся он всем телом вслед за ними с койки, и затем, вспомнив о своем прежнем намерении, я продолжал путь на палубу. В глаза мне бросился блеск моря. Оно лежало под пустынным небосводом сверкающее и бесплодное, однообразное и безнадежное. Паруса были неподвижные и обвисшие, даже вялые их складки шевелились не больше, чем высеченный гранит.

При стремительном моем появлении рулевой слегка вздрогнул. Вверху, неведомо почему, скрипел блок: чем вызывался этот скрип? Это был свистящий, точно птичий, звук. Долго, бесконечно долго смотрел я на пустой мир, погруженный в безграничное молчание, сквозь которое солнечное сияние просачивалось и разливалось для какой-то таинственной цели. Потом я услышал у своего локтя голос Рэнсома:

— Я уложил мистера Бернса обратно в постель, сэр.

— Уложили?

— Да, сэр, он вдруг вздумал встать, но, когда он

перестал держаться за койку, он упал. Все-таки мне кажется, что он в полном сознании.

— Да, — тупо сказал я, не глядя на Рэнсома. Он подождал минуту, потом осторожно, точно боясь обидеть, продолжал:

— Я думаю, что нам надо беречь этот порошок, сэр.

Я могу подобрать его почти до последней крошки, а потом можно будет просеять, чтобы не осталось стекла. Я сейчас же примусь за это. Завтрак опоздает не больше, чем на десять минут.

— О да, — горько сказал я. — Пусть завтрак подождет.

Подберите все до последней крошки, а затем выбросьте за борт, к черту!

Ответом мне было глубокое молчание, и когда я оглянулся, Рэнсома умного, невозмутимого Рэнсома — уже не было.

Пустынность моря действовала на мой мозг, точно яд.

Когда я обращал глаза к судну, передо мной вставало бредовое видение плавучего гроба. Кто не слышал о судах, несущихся наугад, с мертвым экипажем? Я посмотрел на рулевого, у меня явилось желание заговорить с ним, и в самом деле его лицо выражало ожидание, как будто он

угадал мое намерение. Но в конце концов я пошел вниз, решив побыть немного с глазу на глаз со своей великой заботой. Но в открытую дверь мистер Бернс увидел, что я спустился, и ворчливо обратился ко мне:

— Ну что, сэр?

Я вошел.

— Ничего хорошего, — сказал я.

Мистер Бернс, водворенный снова на койку, прикрывал волосатую щеку ладонью.

— Этот проклятый парень отнял у меня ножницы, — были следующие произнесенные им слова.

Напряжение, от которого я страдал, было так велико, что, пожалуй, хорошо, что мистер Бернс заговорил о своей обиде. Он, видимо, принимал ее близко к сердцу.

— Что он думает, сумасшедший я, что ли? — ворчал он.

— Я этого не думаю, мистер Бернс, — сказал я. В эту минуту я смотрел на него, как на образец самообладания.

Я даже почувствовал нечто вроде восхищения перед этим человеком, который (за исключением чрезмерной материальности того, что у него оставалось от бороды) был так близок к тому, что-

бы стать бесплотным духом, как только может быть близок живой человек. Я заметил неестественно заострившийся нос, глубоко запавшие виски и позавидовал ему. Он был так изнурен, что, вероятно, должен скоро умереть. Достойный зависти человек! Столь близкий к угасанию, а во мне бушует буря, я ношу в себе страдальческую жизнеспособность, сомнения, растерянность, упреки совести и смутное нежелание встретить лицом к лицу ужасную логику положения. Я не мог удержаться, чтобы не пробормотать?

— Я чувствую, что сам схожу с ума.

Мистер Бернс уставился на меня, точно призрак; но в общем он казался удивительно спокойным.

— Я всегда думал, что он сыграет с нами какую-нибудь скверную штуку, сказал он с особенным ударением на слове «он».

Это заставило меня опомниться, но у меня не хватило ни духу, ни энергии, ни охоты вступить с ним в спор.

Моей формой болезни было безразличие. Ползучий паралич безнадежности. Поэтому я только посмотрел на него.

Мистер Бернс разразился целой тирадой.

— Э! Что там! Нет! Вы не верите? Хорошо, как

же вы это объясняете? Как, по-вашему, это могло случиться?

— Случиться? — тупо повторил я. — Да, в самом деле, как, во имя всех адских сил, это могло случиться?

Действительно, если подумать хорошенько, казалось непонятным, что это было именно так: что бутылки опорожнены, снова наполнены, обернуты и поставлены на место.

Какой-то заговор, мрачная попытка обмануть, нечто похожее на хитрую месть, но за что? Или же дьявольская шутка. Но у мистера Бернса была своя теория. Она была проста, и он торжественно высказал ее глухим голосом.

— Я полагаю, что в Хайфоне ему дали за это фунтов пятнадцать.

— Мистер Бернс! — вскричал я.

Он смешно кивнул головой над приподнятыми ногами, похожими на две метлы в пижаме… с огромными голыми ступнями на концах.

— Почему бы и нет? Хинин очень дорог в этой части света, а в Тонкине в нем была большая нужда. И не все ли ему было равно? Вы его не знали. Я знал, и я пошел против него. Он не боялся ни бога, ни черта, ни человека, ни ветра, ни моря, ни своей собственной совести. И он ненавидел всех

и вся. Но, я думаю, он боялся смерти.

Думаю, я единственный человек, который пошел против него. Когда он был болен, я напал на него в той самой каюте, где вы теперь живете, и напугал его. Он думал, что я сверну ему шею. Если бы дать ему волю, мы боролись бы с норд-остовым муссоном, пока он был жив и после его смерти тоже, до скончания века. Изображали бы Летучего Голландца в Китайском море! Ха-ха!

— Но зачем ему было ставить бутылки на место… — начал я.

— А почему бы и нет? Зачем ему было их выбрасывать?

Им место в ящике. Они из аптечного шкафа.

— И они были обернуты! — вскричал я.

— Ну что ж, обертки были под рукой. Я думаю, он сделал это по привычке, а что касается того, чем он снова наполнил их, то всегда имеется достаточно порошка, который присылают в бумажных пакетиках, а они немного погодя лопаются. А затем, кто может сказать? Должно быть, вы не пробовали его, сэр? Но, конечно, вы уверены…

— Да, — сказал я, — не пробовал. Он уже весь за бортом.

За моей спиной мягкий, вежливый голос про-

изнес:

— Я попробовал его. По-видимому, это смесь всех сортов, сладковатая, солоноватая, отвратительная.

Рэнсом, выйдя из буфетной, уже некоторое время прислушивался к нашему разговору, что было вполне извинительно.

— Грязная история, — сказал мистер Бернс. — Я всегда говорил, что он выкинет какую-нибудь штуку.

Мое негодование было безмерно. А милый, симпатичный доктор! Единственный сочувствующий человек, которого я когда-либо знал… вместо того чтобы писать это предостерегающее письмо, полное сочувствия, почему он не произвел надлежащего осмотра? Но, в сущности, едва ли было честно порицать доктора. Все было в порядке, и аптечный шкаф есть нечто официальное, установленное раз навсегда. Не было ничего, что могло бы возбудить малейшее подозрение. Кому я не мог простить, так это себе.

Ничего не следует принимать на веру. Семя вечных угрызений совести было посеяно в моей груди.

— Я чувствую, что все это моя вина, — воскликнул я, — моя и больше ничья! Да, я это чувствую.

Никогда не прощу себе.

— Это очень глупо, сэр, — свирепо сказал мистер Бернс.

И после такого усилия в изнеможении упал на койку.

Он закрыл глаза, он задыхался; эта история, этот гнусный сюрприз потряс и его. Повернувшись, чтобы уйти, я увидел Рэнсома, беспомощно смотревшего на меня. Он понимал, что это значило, но ухитрился улыбнуться своей приятной, грустной улыбкой. Затем он вернулся в свою буфетную, а я снова бросился на палубу посмотреть, есть ли какой-нибудь ветерок, какое-нибудь дуновение под небом, какое-нибудь движение воздуха, какой-нибудь признак надежды.

Снова меня встретила убийственная тишина. Ничто не изменилось, кроме того, что у штурвала стоял другой матрос. Вид у него был больной. Вся его фигура как-то поникла, и он, казалось, скорее цеплялся за рукоятки, чем правил.

Я сказал ему:

— Вам не годится быть здесь.

— Я как-нибудь справлюсь, сэр, — слабо ответил он.

Собственно говоря, ему нечего было делать. Судно не слушалось руля. Оно стояло носом на

запад, с вечным Ко-рингом за кормой; несколько маленьких островков, черных пятен в ослепительном блеске, плавало перед моими омраченными глазами. И, кроме этих кусочков земли, не было ни пятнышка на небе, ни точки на воде, ни облачка пара, ни завитка дыма, ни паруса, ни лодки, ни следа человека, ни признаков жизни — ничего.

Первый вопрос был: что делать? Что можно было сделать? Очевидно, прежде всего надо сказать экипажу.

Я так и поступил в тот же самый день. Я не хотел, чтобы эта новость просто распространилась среди них. Я хотел стать с ними лицом к лицу. С этой целью я собрал их на шканцах.

Прежде чем выйти к ним, я сделал открытие, что в жизни могут быть ужасные мгновения. Ни один сознавшийся преступник не был так подавлен чувством своей вины.

Вот почему, быть может, мое лицо было сурово, а голос сух и бесстрастен, когда я объявил, что ничего больше не могу сделать для больных и лекарств нет. Что же касается ухода за ними, то они знают, что в этом отношении сделано все возможное.

Я считал бы их правыми, если бы они разорвали

меня на части. Молчание, последовавшее за моими словами, было, пожалуй, труднее перенести, чем самую гневную вспышку. Я был уничтожен бесконечной глубиной скрытого в нем упрека. Но оказалось, что я ошибался. С великим трудом стараясь говорить твердым голосом, я продолжал:

— Полагаю, вы поняли, что я сказал, и знаете, что это значит.

— Да, сэр, мы понимаем, — послышались голоса.

Они молчали просто потому, что, по их мнению, им не полагалось говорить; когда же я сказал, что намереваюсь идти в Сингапур и что все зависит от усилий, которые все мы, больные и здоровые, должны приложить, чтобы вывести отсюда судно, раздался тихий одобрительный шепот, а один голос воскликнул:

— Наверняка можно как-нибудь выбраться из этой проклятой дыры.

* * *

Вот выдержки из дневника, который я вел в ту пору.

«Наконец-то мы потеряли из виду Ко-ринг. За несколько дней я, пожалуй, не провел внизу и двух часов. Я остаюсь на палубе день и ночь, и

дни и ночи катятся над нами одни за другими, длинные или короткие, кто может сказать? Всякое чувство времени теряется в монотонности ожидания, надежды и желания — всегда одного и того же: продвинуть судно к югу. Продвинуть судно к югу.

Результат получается странно-механический; солнце подымается и опускается, ночь восходит над нашими головами, словно кто-то под горизонтом поворачивает колесо… Как чудесно и как бесцельно! И пока длится это жалкое зрелище, я шагаю, шагаю по палубе. Сколько миль я прошел по юту этого судна! Упорное, безостановочное паломничество, которое разнообразят короткие экскурсии вниз, взглянуть на мистера Бернса. Я не знаю, может быть, это только кажется, но он как будто становится крепче с каждым днем. Говорит он немного, так как, по правде сказать, положение не располагает к праздным разговорам. Я замечаю это даже на матросах, когда они ходят или сидят на палубе. Они не разговаривают друг с другом.

Мне приходит мысль, что если существует невидимое ухо, улавливающее шепоты земли, оно не найдет на ней места молчаливее этого судна…

Да, мистеру Бернсу нечего сказать мне. Он сидит в своей койке, без бороды, со своими огненными усами и с выражением молчаливой решимости на белой как мел физиономии. По словам Рэнсома, он съедает все, что ему приносят, до последней крошки, но, по-видимому, спит очень мало. Ночью, спускаясь вниз набить себе трубку, я замечаю, что даже и спящий, лежа на спине, он имеет очень решительный вид. Взгляд, который он искоса бросает на меня, если не спит, как будто выражает досаду, что его прервали во время какой-то трудной умственной работы. А когда я выхожу на палубу, мой взгляд встречает установленное расположение звезд, не затянутых облаками, бесконечно утомляющих. Вот они: звезды, солнце, море, свет, мрак, пространство, великие воды; грозное творение семи дней, в которое человеческий род попал непрошеным, словно по ошибке. Или же его заманили.

Как заманили меня на это ужасное, это преследуемое смертью судно».

* * *

Единственным пятном света на судне ночью был свет ламп нактоуза, освещавший лица сменяющихся рулевых; остальное тонуло во мраке

— и я, шагающий по юту, и люди, лежащие на палубе. Все они были так обессилены болезнью, что некому было стоять на вахте. Те, которые были в состоянии ходить, оставались все время наверху, лежа в тени на верхней палубе, пока отданное мною громким голосом приказание не поднимало их на ослабевшие ноги — маленькую, ковыляющую кучку, терпеливо движущуюся по судну, без ропота, без перешептываний. И каждый раз, как мне приходилось повышать голос, я делал это с угрызениями совести и мучительной жалостью.

Затем, часа в четыре утра, на баке, в камбузе зажигался свет. Верный Рэнсом, с больным сердцем, невосприимчивый к заразе, невозмутимый и энергичный, готовил утренний кофе для экипажа. Вскоре он приносил мне чашку на ют, и тогда-то я позволял себе опуститься в свое палубное кресло и заснуть на два-три часа. Без сомнения, я иной раз слегка задремывал, если на секунду, в полном изнеможении, прислонялся к поручням, но, по совести говоря, я не замечал этой дремоты, разве только в мучительной форме конвульсивных вздрагиваний, которые появлялись у меня, даже когда я ходил. Но с пяти часов и до восьмого часа я откровенно спал под

бледнеющими звездами.

Я говорил рулевому: «Позовите меня, если надо будет» — опускался в кресло и закрывал глаза, чувствуя, что для меня на земле не существует сна. Затем я не сознавал больше ничего, пока между семью и восемью не чувствовал прикосновения к своему плечу и не видел над собою лица Рэнсома с его слабой, грустной улыбкой и ласковыми серыми глазами, как будто он нежно подсмеивался над моей сонливостью. Иногда второй помощник приходил наверх и сменял меня во время утреннего кофе. Но, в сущности, это не имело значения. Обыкновенно бывал мертвый штиль или слабый бриз, такой переменчивый и мимолетный, что, право, не стоило ради него трогать брасы. Если ветер крепчал, то можно было положиться на предостерегающий крик рулевого: «Паруса забрали», который, точно трубный глас, заставлял меня подскакивать на целый фут от полу. Эти слова, мне кажется, заставили бы меня очнуться от вечного сна. Но это бывало не часто. С тех пор я никогда не встречал таких безветренных восходов.

И если случалось, что второй помощник был здесь (у него обычно каждый третий день не бывало лихорадки), то я заставал его сидящим

на световом люке в полубесчувственном состоянии и с идиотским взглядом, устремленным на какой-нибудь предмет поблизости — конец, планку, утку, рым.

Этот молодой человек был довольно утомителен. Он и в страдании оставался молокососом. Казалось, он превратился в совершенного кретина, и когда приступ лихорадки заставлял его вернуться вниз, в каюту, то вскоре он исчезал оттуда. В первый раз, когда это случилось, Рэнсом и я были очень встревожены. Мы начали потихоньку искать, и в конце концов Рэнсом нашел его свернувшимся клубочком в парусной каюте, куда вела раздвижная дверь из коридора. В ответ на упреки он угрюмо пробормотал: «Здесь прохладно». Неверно. Там было только темно.

Основные дефекты его лица еще усугублялись однообразно-синеватым цветом. Болезнь поразительным образом обнаружила его низменный характер. Не так было с большинством матросов. Изнуряющий недуг, казалось, идеализировал общий характер черт, обнаружив неожиданное благородство одних, силу других, а в одном случае раскрыв явно комическую сторону. Это был маленький, живой, подвижной человек с носом и подбородком типа Панча; товарищи называли

его «Френчи». Не знаю почему. Может быть, он был француз, но я никогда не слышал, чтобы он произнес хоть одно слово по-французски.

Видеть, как он идет к штурвалу, было уже утешением.

Синие подвернутые штаны, одна штанина короче другой, чистая клетчатая рубашка, белая парусиновая, очевидно самодельная, шапка составляли своеобразно-щеголеватое целое, а всегда бодрая походка, даже когда он, бедняга, едва держался на ногах, говорила об его несокрушимом духе. Был еще матрос, которого звали Гэмбрил. Единственный человек на судне, у которого волосы были с проседью. Лицо его носило суровый отпечаток. Но если я помню все их лица, трагически таявшие у меня на глазах, то большая часть их имен исчезла из моей памяти.

Слова, которыми мы обменивались, были немногочисленны и казались ребяческими в сравнении с создавшимся положением. Я должен был заставлять себя смотреть людям в лицо. Я ожидал встретить укоризненные взгляды.

Ничуть не бывало. Правда, страдальческое выражение их глаз было достаточно тяжело переносить. Но с этим они ничего не могли поделать. Что касается всего остального, то я спрашивал

себя, уравновешенность ли их душ, или их воображение, доступное сочувствию, делали их такими удивительными, такими достойными вечного моего уважения.

Что касается меня самого, то моя душа далеко не была уравновешена, и своим воображением я плохо владел.

Бывали мгновения, когда я чувствовал не только, что схожу с ума, но что я уже сошел с ума; и я не смел раскрыть рта из боязни выдать себя каким-нибудь безумным визгом. К счастью, мне приходилось только отдавать приказания, а приказание оказывает укрепляющее действие на того, кто отдает его. Кроме того, моряк, вахтенный офицер, был во мне достаточно здоров. Я походил на сумасшедшего столяра, делающего ящик. Как бы он ни был убежден, что он царь иерусалимский, ящик, который он сделает, будет нормальным ящиком.

Чего я боялся, так это как бы у меня не вырвалась какая-нибудь визгливая нотка и не опрокинула моего равновесия. К счастью, опять-таки, не было необходимости повышать голос. Задумчивая тишина мира казалась чувствительной к малейшему звуку, словно некая пустынная галерея. Слово, сказанное в спокойном тоне, про-

носилось с одного конца судна до другого. Ужасно то, что единственным голосом, какой я слышал, был мой собственный.

Ночью в особенности он отдавался страшно одиноко от плоских полотнищ неподвижно висящих парусов.

Мистер Бернс, все еще лежа в постели с видом тайной решимости, ворчал на многое. Наши беседы продолжались не больше пяти минут, но завязывались часто.

Я то и дело сбегал вниз за спичками, хотя в эту пору я потреблял мало табаку. Трубка вечно гасла: по правде говоря, на душе у меня было недостаточно спокойно, чтобы я мог курить, как следует. И надо сказать, что в течение большей части суток я мог бы зажигать спички на палубе и держать их головкой вверх, пока пламя не обожгло бы мне пальцев. Но я всегда сбегал вниз. Это было переменой.

Это было единственной передышкой в непрерывном напряжении; и, конечно, мистер Бернс сквозь открытую дверь видел меня каждый раз, когда я входил и выходил.

С приподнятыми под самый подбородок коленями и устремленными вдаль зеленоватыми глазами, он был жуткой фигурой и, так как я знал

об его навязчивой идее, не особенно привлекательной для меня. Тем не менее мне приходилось время от времени разговаривать с ним, и однажды он пожаловался, что на судне так тихо. Он целыми часами лежит здесь, сказал он, не слыша ни звука, и в конце концов он просто не знает, что ему с собой делать.

— Когда Рэнсом у себя в камбузе, кругом так тихо, что можно подумать, будто все на судне умерли, — ворчал он. — Единственный голос, который я иногда слышу, это ваш, сэр, а этого недостаточно, чтобы развеселить меня.

Что такое с людьми? Неужели не осталось никого, кто мог бы петь за работой?

— Никого, мистер Бернс, — сказал я. — Никто не может тратить на это силы. Вы знаете, бывает, что я не могу собрать больше трех матросов, чтобы сделать что-нибудь.

Он быстро, но боязливо спросил:

— Никто еще не умер, сэр?

— Нет.

— Этого нельзя допустить, — энергично заявил мистер Бернс. — Вы не должны позволять ему. Если он наложит руку на одного, то заберет и остальных.

Я сердито прикрикнул на него. Кажется, я даже

выругался, обозленный смущающим действием этих слов. Они угрожали тому самообладанию, какое еще оставалось у меня. В моем бесконечном бдении лицом к лицу с врагом меня осаждали достаточно страшные образы. Мне представлялся корабль, то застигнутый штилем, то несущийся по воле ветра со всем своим экипажем, медленно умирающим на палубе. Известно, что такие вещи бывали.

Мистер Бернс встретил мою вспышку загадочным молчанием.

— Послушайте, — сказал я. — Вы сами не думаете того, что говорите. Вы не можете так думать. Это невозможно. Это не то, чего я вправе ждать от вас. Мое положение достаточно скверно и без ваших глупых фантазий.

Это не произвело на него никакого впечатления.

Свет падал на его голову так, что я не был уверен, действительно ли он слабо улыбнулся, или нет. Я переменил тон.

— Слушайте, — сказал я. — Положение становится таким отчаянным, что я подумал было, раз мы не можем пробиться к югу, не попробовать ли держать на запад, где проходят почтовые пароходы. Мы могли бы, по крайней мере, достать

немного хинину. Как вы думаете?

— Нет, нет, нет! — вскричал он. — Не делайте этого, сэр. Вы не должны ни на миг отказываться от борьбы с этим старым злодеем. Если вы это сделаете, он нас одолеет.

Я ушел. Он был невыносим. Это походило на одержимость. Тем не менее его протест по существу был совершенно основателен. В сущности, моя идея пойти на запад в надежде встретить проблематический пароход не выдерживала критики. Там, где мы находились, ветра было достаточно по крайней мере для того, чтобы время от времени ползти к югу. Достаточно, чтобы поддерживать надежду. Но, предположим, я воспользовался бы этими капризными порывами ветра, чтобы плыть на запад в какую-нибудь область, где не бывает никакого бриза по целым дням, что тогда? Может быть, мое ужасное видение судна, плывущего с мертвым экипажем, стало бы действительностью, на которую наткнулись бы много недель спустя какие-нибудь пораженные ужасом моряки.

Днем Рэнсом принес мне чашку чая и, стоя в ожидании, с подносом в руке, заметил в меру сочувственным тоном:

— А вы не сдаетесь, сэр.

— Да, — сказал я. — Нас с вами, видно, забыли.

— Забыли, сэр?

— Ну да, нас забыл демон лихорадки, хозяйничающий на этом судне, сказал я.

Рэнсом бросил мне один из своих симпатичных, умных, быстрых взглядов и ушел с подносом. Мне пришло в голову, что, пожалуй, я говорил в духе мистера Бернса.

Это раздосадовало меня. Однако в мрачные минуты я часто ловил себя на таком отношении к нашим невзгодам, которое было скорее уместно в борьбе с живым врагом.

Да. Демон лихорадки еще не наложил свою руку ни на Рэнсома, ни на меня. Но он мог это стлать в любую минуту. Это была одна из тех мыслей, с которыми надо бороться, которые надо отгонять во что бы то ни стало.

Думать о том, что Рэнсом, на котором лежало все хозяйство судна, может слечь было невыносимо. А что сталось бы с судном, если бы свалился я? Ведь мистер Бернс еще так слаб, что не может стоять, не держась за койку, а младший помощник доведен до полного слабоумия.

Представить себе это было невозможно, или, вернее, это было слишком легко себе представить.

Я был один на юте. Так как судно все равно не слушалось руля, я отослал рулевого посидеть или полежать где-нибудь в тени. Силы людей были так подорваны, что следовало избегать всякого лишнего напряжения.

Рулевым был суровый Гэмбрил с седеющей бородой.

Он ушел с готовностью, но он, бедняга, так ослабел от повторных приступов лихорадки, что, спускаясь по кормовому трапу, должен был повернуться боком и держаться обеими руками за медный поручень. Это зрелище буквально надрывало сердце. И однако ему не было ни значительно хуже, ни значительно лучше, чем большинству из полудюжины несчастных жертв, которых я мог вызвать на палубу.

Это был ужасающе безжизненный день. Несколько дней подряд в отдалении появлялись низко нависшие тучи, белые массы с темными извилинами, покоящиеся на воде, неподвижные, почти плотные и, однако, все время Неуловимо меняющие облик. К вечеру они обычно исчезали. Но в этот день они ждали заходящего солнца, которое, прежде чем сесть, угрюмо горело и тлело среди них. Над верхушками мачт снова появились пунктуальные и надоедливые звезды, но

воздух оставался стоячим и гнетущим.

Верный Рэнсом зажег лампы нактоуза и, точно тень, скользнул ко мне.

— Не спуститесь ли вы вниз, сэр, и не попробуете ли скушать что-нибудь? — предложил он.

От его тихого голоса я вздрогнул. Я стоял, глядя за борт, ничего не говоря, ничего не чувствуя, даже усталости, побежденный злыми чарами.

— Рэнсом, — отрывисто спросил я, — сколько дней я уже на палубе? Я теряю представление о времени.

— Четырнадцать дней, сэр, — сказал он, — в прошлый понедельник было две недели, как мы снялись с якоря.

Его ровный голос звучал печально. Он немного подождал, затем прибавил:

— Сегодня первый раз похоже, что будет дождь.

Тогда я заметил широкую тень на горизонте, совершенно затмившую низкие звезды; те же, которые были над головой, когда я взглянул на них, казалось, светились сквозь пелену дыма.

Как попала туда тень, как она заползла так высоко, я не мог сказать. Вид у нее был зловещий. Воздух был неподвижен. По новому приглашению Рэнсома я спустился в каюту,

чтобы, выражаясь его словами, «попробовать скушать что-нибудь». Вряд ли эта попытка была очень успешной. Полагаю, что в этот период я поддерживал свои силы едой, как обычно; но воспоминание осталось у меня такое, будто в те дни жизнь поддерживалась непобедимой мучительной тревогой, точно каким-то адским возбуждающим средством, укрепляющим и разрушающим в одно и то же время.

Это единственный период в моей жизни, когда я пытался вести дневник. Нет, не единственный. Годы спустя в условиях душевного одиночества, я записывал на бумаге мысли и события двадцати дней. Но сейчас это случилось в первый раз. Я не помню, как это вышло или как записная книжка и карандаш попали ко мне в руки. Нельзя себе представить, чтобы я искал их намеренно. Я полагаю, что они спасли меня от ненормальной привычки разговаривать с самим собой.

Странно то, что в обоих случаях я прибег к этому при таких обстоятельствах, когда я не надеялся, выражаясь вульгарно, «выпутаться». Не мог я ожидать и того, что рассказ меня переживет. Это показывает, что тут была только потребность в душевном облегчении, а не желание говорить о себе.

Здесь я должен дать другой образчик этого дневника, несколько отдельных строк, которые теперь кажутся мне самому такими призрачными, взятых из записи, сделанной в тот вечер.

* * *

«В небе происходит что-то, похожее на разложение, на гниение воздуха, который остается все таким же неподвижным. В конце концов простые тучи, которые могут принести ветер или дождь, а могут и не принести ни того, ни другого. Странно, что это так волнует меня. Такое чувство, как будто все мои грехи призывают меня к ответу.

Но я думаю, вся беда в том, что судно все еще стоит неподвижно, не поддаваясь управлению, и что у меня нет дела, которое помешало бы моему воображению дико рыскать среди устрашающих образов самого худшего, что может случиться с нами. Что-то будет? Вероятно, ничего. Или же все, что угодно. Может быть, бешеный шквал яростно налетит на нас. А на палубе пять человек, их жизнеспособности и силы хватит, скажем, на двоих. Все наши паруса может сорвать. Поднят каждый дюйм парусины с тех пор, как мы снялись с якоря в устье Меи-нам, пятнадцать дней тому назад… Или пятнадцать веков. Мне кажется, что

вся моя жизнь до того рокового дня бесконечно далека от меня, — бледнеющее воспоминание легкомысленной юности, нечто по ту сторону какой-то тени.

Да, паруса очень легко может сорвать. А это все равно, что смертный приговор. У нас не хватит сил, чтобы поставить запасные; невероятно, но это так. Или даже может снести мачты. С судов сносило мачты во время шквала только потому, что не были достаточно быстро приняты меры, а у нас нет сил, чтобы брасопить реи. Это все равно, что быть связанным по рукам и ногам перед тем, как вам перережут горло. Больше всего ужасает меня то, что я боюсь пойти на палубу, встретить все это лицом к лицу. Это мой долг перед судном, перед матросами там, на палубе, готовыми, как их ни мало, по первому моему слову отдать последние силы. А я увиливаю. От одной только мысли об этом. Мое первое командование.

Теперь я понимаю это странное чувство неуверенности, возникавшее у меня в прошлом. Я всегда подозревал, что могу оказаться негодным. И вот положительное доказательство. Я увиливаю. Я «не гожусь».

* * *

В это самое мгновение или, быть может, секунду спустя я заметил, что в каюте стоит Рэнсом. Что-то в выражении его лица поразило меня. Я не понял, что оно может означать.

— Кто-нибудь умер? — воскликнул я.

Теперь была его очередь удивиться:

— Умер? Я ничего не знаю, сэр. Я был на баке всего десять минут тому назад, и там все были живы.

— Вы испугали меня, — сказал я.

У него был удивительно приятный голос. Он объяснил, что спустился вниз закрыть иллюминатор у мистера Бернса на случай, если пойдет дождь. Он не знал, что я в каюте, прибавил он.

— Что на море? — спросил я.

— Страшная тьма, сэр. Что-то будет наверняка.

— С какой стороны?

— Кругом, сэр.

— Кругом. Наверняка, — лениво повторил я, опершись локтями о стол.

Рэнсом медлил в каюте, как будто ему надо что-то сделать здесь, но он не решается.

Я вдруг сказал:

— Вы думаете, мне следует быть наверху?

Он ответил сразу, но без особого ударения или подчеркивания:

— Да, сэр.

Я быстро поднялся, а он посторонился, давая мне пройти. Идя к трапу, я услышал голос мистера Бернса:

— Закройте мою дверь, стюард.

И несколько удивленный ответ Рэнсома:

— Слушаю, сэр.

Я думал, что все мои чувства притупились до полного равнодушия. Но пребывание на палубе оказалось таким же мучительным, как всегда. Непроницаемый мрак окутывал судно так плотно, что казалось, стоит протянуть руку за борт — и прикоснешься к какому-то неземному веществу. Это вызывало ощущение непостижимого ужаса и невыразимой тайны. Немногие звезды над головой изливали тусклый свет только на судно, не отбрасывая лучей на воду, разрозненными стрелами прорезывая атмосферу, превратившуюся в сажу. Ничего подобного я никогда еще не видел — невозможность установить, откуда может прийти перемена, — угроза, обступившая со всех сторон.

У руля все еще никого не было. Неподвижность всего окружающего была полная. Если воздух

стал черен, то море, казалось, стало твердым. Не стоило ни смотреть в каком бы то ни было направлении, ни улавливать какие-нибудь знаки, ни гадать о близости мгновенья. Придет время — и мрак молча одолеет ту капельку звездного света, какая падает на судно, и конец всему наступит без вздоха, движения или ропота, и все наши сердца перестанут биться, точно остановившиеся часы.

Было невозможно отделаться от этого ощущения конца. Спокойствие, снизошедшее на меня, было словно предвкушением небытия. В нем была какая-то отрада, как будто моя душа вдруг примирилась с вечностью слепой тишины.

При том нравственном опустошении, которое я переживал, у меня уцелел лишь инстинкт моряка. Я спустился по трапу на шканцы. Звездный свет, казалось, угасал, не достигая этого места, но когда я тихо спросил: «Вы здесь, ребята?» — мои глаза различили призрачные фигуры, вставшие вокруг меня, очень немногочисленные, очень неясные; и чей-то голос произнес: «Все здесь, сэр». Другой торопливо поправил:

— Все, кто на что-нибудь годится, сэр.

Оба голоса были очень тихи и глухи; не слышно было ни особой готовности, ни уныния. Очень

деловитые голоса.

— Мы должны попытаться убрать грот, — сказал я.

Тени отшатнулись от меня безмолвно. Эти люди были призраками самих себя, и их вес на фалах не мог быть больше веса призраков. Если когда-либо парус был убран чисто духовной силой, то именно этот парус, потому что на всем корабле не было достаточно мускульной силы для такой задачи, не говоря уже о нашей жалкой кучке на палубе. Разумеется, я сам тоже работал. Они едва брели за мной от троса к тросу, спотыкаясь и тяжело дыша. Они трудились, как титаны. Мы возились с этим по меньшей мере полчаса, и все время черный мир не издавал ни звука. Когда был закреплен последний нок-гордень, мои глаза, привыкшие к темноте, различили фигуры изнемогающих людей, цепляющихся за поручни, упавших на люки. Один схватился за шпиль, мучительно стараясь вздохнуть, а я стоял среди них, словно надежная опора, недоступный болезни и чувствуя только душевную боль.

Я немного подождал, борясь с бременем своих грехов, с чувством собственной непригодности, а затем сказал: — Теперь, ребята, мы пойдем на ют и выровняем гротарею. Это все, что мы можем

сделать. А там уже как бог даст.

Глава шестая

Когда мы поднялись наверх, я подумал, что кому-нибудь следовало бы стоять у штурвала. Я повысил голос — говорил я почти шепотом, — и бесшумно в свете нактоуза появился безропотный дух в изнуренном лихорадкой теле, голова с ввалившимися глазами, одиноко озаренная среди мрака, поглотившего наш мир — и вселенную. Обнаженная рука, лежавшая на верхних рукоятках штурвала, казалось, светилась собственным светом.

Я пробормотал этому светящемуся видению:

— Прямо руль.

Оно ответило терпеливо, страдальческим тоном:

— Есть, прямо руль.

Потом я спустился на шканцы. Невозможно было сказать, откуда придет удар. Смотреть вокруг значило смотреть в бездонный, черный колодезь. Взгляд терялся в непостижимых глубинах.

Я хотел удостовериться, убраны ли с палубы фалы.

Это можно было сделать, только нащупывая их ногой.

Осторожно подвигаясь вперед, я наткнулся на человека, в котором узнал Рэнсома. Он обладал осязаемой материальной плотностью, в чем я убедился, прикоснувшись к нему. Он стоял, прислонившись к шпилю, и молчал.

Это было точно откровение. Он и был той поникшей фигурой, так мучительно старавшейся вздохнуть, которую я заметил раньше, когда мы шли на корму.

— Вы помогали убирать грот! — тихо воскликнул я.

— Да, сэр, — прозвучал его спокойный голос.

— Господи! О чем же вы думали? Вам нельзя делать таких вещей.

Немного помолчав, он согласился:

— Да, пожалуй, нельзя. — Затем, снова помолчав, быстро, между двумя предательскими вздохами, прибавил: — Теперь все прошло.

Кроме него, я никого не слышал и не видел; но когда я повысил голос, ответный печальный шепот раздался на шканцах, и какие-то тени задвигались взад и вперед.

Я приказал разобрать фалы и очистить палубу.

— Я займусь этим, сэр, — отозвался Рэнсом своим обычным приятным голосом; его было так отрадно слышать, и в то же время он почему-то

вызывал сострадание.

Следовало бы ему быть теперь в постели и отдыхать, а моей прямой обязанностью было послать его туда.

Но, может быть, он не послушался бы; у меня не хватало духу попытаться. Я сказал только:

— Смотрите, потихоньку, Рэнсом.

Вернувшись на ют, я подошел к Гэмбрилу. Его лицо с выделявшимися при свете темными, впадинами было ужасно, оно казалось застывшим навеки. Я спросил его, как он себя чувствует, но вряд ли ждал ответа. Поэтому я был удивлен его сравнительно многословной речью.

— Меня как познобит, так я становлюсь слабым, как котенок, сэр, сказал он, сохраняя то равнодушие ко всему, кроме своего дела, которого никогда не должен забывать рулевой. — А не успею я собраться с силами, как начинается жар, и опять я валюсь с ног.

Он вздохнул. В его тоне не было жалобы, но самых слов было достаточно, чтобы вызвать во мне мучительные угрызения совести. На минуту они лишили меня способности говорить. Когда тяжкое ощущение прошло, я спросил:

— Хватит ли у вас сил удержать штурвал, если судно пойдет назад? Плохо будет, если что-нибудь

случится с рулевым приводом. У нас и без того достаточно хлопот.

Он ответил устало, что у него хватит силы налечь на штурвал. Он может обещать мне, что не выпустит его из рук. Больше он ничего не может сказать.

В эту минуту возле меня очутился Рэнсом; он выступил из мрака неожиданно, словно его только что создали, создали и его спокойное лицо и приятный голос.

— Все снасти разобраны, — сказал он, — и палуба очищена, насколько можно было проверить на ощупь.

Разглядеть ничего нельзя. Френчи стоит на баке. Он говорит, что еще продержится.

Тут слабая улыбка изменила на миг ясный твердый рисунок губ Рэнсома. Со своими серьезными, яснытчн серыми глазами, своим уравновешенным характером он был незаменимым человеком. Его душа была так же тверда, как мускулы его тела.

Он был единственным человеком на корабле (кроме меня, но я должен был сохранять свободу движений), обладавшим мускульной силой, на которую можно положиться. Я было подумал, не попросить ли его стать к штурвалу. Но, вспомнив

о страшном враге, которого он носил в груди, я не решился. При моем незнании физиологии мне пришло в голову, что он может внезапно умереть от волнения в решающую секунду.

Этот ужасный страх остановил готовые сорваться с моего языка слова. Рэнсом отступил на два шага и исчез во тьме.

Мною вдруг овладело беспокойство, как будто у меня отняли какую-то опору. Я тоже двинулся вперед, за круг света, во мрак, стоявший передо мной, точно стена. Одним шагом я проник в него. Таков, должно быть, был мрак перед сотворением мира. Он сомкнулся за мной. Я знал, что невидим для рулевого. И я тоже ничего не видел.

Он был один, я был один, каждый человек был один там, где стоял. И все окружающее тоже исчезло, мачты, паруса, снасти, поручни — все исчезло в ужасной беспросветности этой полной тьмы.

Молния была бы облегчением — я хочу сказать, физическим. Я молил бы о ней, если бы не страх перед громом.

В тягостном молчании, от которого я страдал, мне казалось, что первый удар превратит меня в прах.

А грома, по всей вероятности, нам было не

миновать.

Весь застыв и едва дыша, я ждал в ужасном напряжении.

Ничего не произошло. От этого можно было обезуметь.

И в самом деле тупая растущая боль в нижней части лица заставила меня понять, что, бог знает, сколько времени я, как безумный, скрежещу зубами.

Удивительно, что я не слышал, как я это делаю; но я не слышал. Усилием, поглотившим все мое существо, я принудил свою челюсть не двигаться. Это потребовало большого внимания, и, занятый этим, я удивился, услыша странные, неравномерные звуки, как будто кто-то слабо стучал по палубе. Эти стуки были то одиночные, то двойные, то раздавались дробью. Пока я недоумевал, что это за чертовщина, что-то слегка ударило меня под левый глаз, и я почувствовал, что по моей щеке катится крупная слеза. Дождевые капли. Огромные. Предвестники чего-то.

Тап. Тап. Тап…

Я повернулся и, обратившись к Гэмбрилу, взмолился, чтобы он «налег на штурвал». Но я едва мог говорить от волнения. Роковой миг наступил. Я затаил дыхание.

Стуки прекратились так же неожиданно, как начались, и снова миг невыносимого ожидания; что-то вроде добавочного поворота дыбы. Не думаю, чтобы я взвизгнул, но помню — я был убежден, что не остается ничего другого, как только взвизгнуть.

Вдруг — как передать это? Словом, вдруг тьма превратилась в воду. Это единственный подходящий образ.

Сильный дождь, ливень всегда надвигается с шумом.

Вы слышите его приближение по морю, даже по воздуху, в этом я уверен. Но сейчас было нечто совсем другое.

Не уловив ни малейшего предварительного шелеста или шороха, всплеска, не ощутив даже тени прикосновения, я мгновенно промок насквозь. Это было не трудно, так как на мне был только ночной костюм. Мои волосы моментально пропитались водой, вода струилась по моему лицу, наполняла нос, уши, глаза. В одну секунду я проглотил изрядное количество воды.

А Гэмбрил чуть не захлебнулся. Он жалостно кашлял конвульсивным кашлем больного человека, и я видел его, как видят рыбу в аквариуме при свете электрической лампочки, — обман-

чивую, фосфоресцирующую тень. Только он не уплыл со своего места. Но случилось нечто другое. Погасли обе лампы нактоуза. Должно быть, в них проникла вода, хотя я не поверил бы, что это возможно, так как колпак был прилажен очень плотно.

Последний проблеск света во вселенной исчез, сопровождаемый тихим горестным возгласом Гэмбрила. Я ощупью пробрался к нему и схватил его за руку. Как она была ужасно худа!

— Ничего, — сказал я. — Вам не нужно света. Вам нужно одно: держать по ветру, когда он поднимется и будет дуть вам в затылок. Понимаете?

— Да, да, сэр… Но мне хотелось бы свету, — нервно прибавил он.

Все это время судно было неподвижно, как скала.

Шум воды, льющейся с парусов и рангоута, текущей по уступу кормы, прекратился. Шпигаты булькали и всхлипывали немного дольше, и затем полное молчание и полная неподвижность возвестили о том, что неснятое заклятие, вызвавшее нашу беспомощность, застыло на грани какого-то насильственного исхода, все еще таясь во тьме.

Я тревожно бросился вперед. Мне не нужно

было зрения, чтобы с полной уверенностью пройти по юту моего злополучного первого судна. Каждый квадратный фут его палубы был неизгладимо запечатлен в моем мозгу, до последней зазубрины в досках. Однако совершенно неожиданно я споткнулся обо что-то и упал ничком, растянувшись во всю длину.

Это было что-то большое и живое. Не собака — скорее что-то вроде овцы. Но на корабле не было животных.

Каким образом животное… Это был новый фантастический ужас, которому я не мог противостоять. Волосы на голове у меня шевелились, когда я поднялся, страшно испуганный; и не так, как бывают испуганы взрослые люди, суждение, разум которых еще пытаются противостоять, но совершенно безнадежно, так сказать, невинно испуган, — точно маленький ребенок.

Я мог видеть Его — это Нечто! Мрак, такая большая часть которого только что превратилась в воду, слегка поредел. Вот Оно передо мной. Но мне не приходила в голову мысль о мистере Вернее, выползавшем на четвереньках из рубки, пока он не попытался встать — и даже тогда я прежде всего подумал о медведе.

Он зарычал, как медведь, когда я обхватил его за

талию. Он был закутан в огромное зимнее пальто из какой-то мохнатой материи, тяжесть которой была слишком велика для его истощенного тела. Я едва ощущал под руками это невероятно худое тело, затерянное в толстом пальто, но его басовитое рычание имело смысл:

«Проклятое немое судно, трусы ходят на цыпочках.

Почему они не могут ступать, как следует, выбирая брасы?

Неужели среди них всех нет ни одного завалящего моряка, способного заорать как следует?»

— Отлынивать не годится, сэр, — напал он непосредственно на меня. — Не пытайтесь проскользнуть мимо старого злодея. Это не поможет. Вы должны смело идти против него — как сделал я. Смелость — вот вам что нужно. Покажите ему, что вам наплевать на все его проклятые штуки. Лезьте прямо на него.

— Господи боже мой, мистер Бернс! — сердито сказал я. — Что это вы вздумали? Чего ради вы пришли сюда в таком состоянии?

— Именно ради этого! Смелость — единственный способ напугать старого буяна.

Он все еще ворчал, когда я толкнул его к поручням.

— Держитесь за них, — грубо сказал я.

Я не знал, что с ним делать. Я быстро отошел от него и бросился к Гэмбрилу, слабо крикнувшему, что как будто поднимается ветер. И в самом деле, мое ухо уловило слабый шелест мокрой парусины высоко над головой, лязг натянувшейся цепи…

То были дикие, тревожные, пугающие звуки в мертвой тишине вокруг меня. Все рассказы, которые я слышал о стеньгах, сорванных в то время, как на палубе не хватало ветра, чтобы задуть спичку, разом пришли мне на память.

— Я не вижу верхних парусов, сэр, — дрожащим голосом заявил Гэмбрил.

— Так держать. Все обойдется, — уверенно сказал я.

Нервы изменили бедняге. Мои были не в лучшем состоянии. Это был миг невыносимого напряжения. Он сменился внезапным ощущением, будто судно двинулось вперед у меня под ногами, точно само собой. Я ясно слышал гудение ветра вверху, тихий треск верхнего рангоута, гнущегося под напором, задолго до того, как почувствовал хотя бы малейшее дуновение на своем лице, обращенном к корме, тревожном и незрячем, точно лицо слепого.

Вдруг громче прозвучавшая нота поразила наш

слух, и мрак, струясь, двинулся на наши тела, пронизывая их резким холодом. Мы оба, Гэмбрил и я, дрожали в облипающей, промокшей одежде из тонкой бумажной ткани.

Я сказал ему:

— Все в порядке. Вам нужно только держать по ветру. На это у вас, конечно, хватит силы. Ребенок мог бы управлять этим судном, когда нет волны.

Он пробормотал:

— Да, здоровый ребенок.

И мне стало стыдно, что лихорадка, подорвавшая силы всех людей на судне, обошла меня, для того чтобы мои угрызения совести были более горькими, чувство непригодности более острым, а сознание ответственности более тягостным.

Судно в один миг прошло большое расстояние по спокойной воде. Оно скользило без всякого шума, кроме таинственного шелеста вдоль бортов. Но не было ни малейшей качки, ни бортовой, ни килевой. Все та же наводящая уныние неподвижность, которая продолжалась уже восемнадцать дней; за все это время у нас ни разу, ни разу не было достаточно ветра, чтобы хоть сколько-нибудь всколыхнуть море. Ветер вдруг окреп.

Я решил, что пора увести мистера Бернса с палубы.

Он беспокоил меня. Я смотрел на него, как на сумасшедшего, который, пожалуй, начнет бегать по судну и сломает себе ногу или упадет за борт.

Я искренно обрадовался, убедившись, что он благоразумно стоит там, где я его оставил. Но он зловеще бормотал что-то про себя.

Это было печально. Я заметил деловитым тоном:

— У нас не было такого ветра с тех пор, как мы вышли в море.

— Да, так оно как будто веселее, — рассудительно заметил он. Это было замечание совершенно здравомыслящего моряка. Но он немедленно прибавил:

— Пора было мне подняться наверх. Я для того и набирал силы — только для того. Понимаете, сэр?

Я сказал, что понимаю, и намекнул, что не мешало бы ему теперь пойти вниз и отдохнуть.

Его ответом было негодующее:

— Пойти вниз? И не подумаю, сэр.

Очень приятно! Он был ужасной помехой. И вдруг он принялся убеждать меня. Я чувствовал в темноте его безумное возбуждение.

— Вы не знаете, как взяться за это, сэр. Да и откуда вам знать? Все это шептание и хождение

на цыпочках ни к чему. Не надейтесь проскользнуть мимо такой хитрой, насторожившейся, злой бестии, как он. Вы никогда не слышали, как он разговаривал. У вас волосы встали бы дыбом. Нет! Нет! Он не был сумасшедшим. Он был сумасшедшим не больше меня. Он был просто злодеем.

Таким злодеем, что большинство людей боялось его.

Я скажу вам, кем он был. Он был ни больше, ни меньше, как вором и убийцей в душе. И вы думаете, что он стал теперь другим, потому что умер? Как бы не так! Его труп лежит на глубине ста сажен, но он остался таким же… Восемь градусов двадцать минут северной широты.

Он вызывающе фыркнул. Устало покоряясь судьбе, я заметил, что, пока он нес этот вздор, ветер стал слабее. Он снова принялся за свое:

— Я бы должен был выбросить негодяя за борт, — как собаку. Только из-за экипажа… Подумайте, мне пришлось читать заупокойные молитвы над этой скотиной…

«Наш почивший брат…» Я чуть не расхохотался. Этого он не переносил. Думаю, я был единственным человеком, осмелившимся смеяться над ним. Когда он заболел, он этого пугался… брат… Брат… Почивший… Скорее можно акулу назвать

братом.

Ветер стих так внезапно, что мокрые паруса тяжело ударились о мачту. Заклятие мертвого штиля снова настигло нас. Казалось, уйти от него невозможно.

— Эге! — удивленно воскликнул мистер Бернс. — Опять штиль!

Я заговорил с ним, как будто бы он был в полном уме.

— Это тянется уже семнадцать дней, мистер Бернс, — с горечью сказал я. — Порыв ветра, затем штиль, а через минуту, вы увидите, оно свернет с курса, куда-нибудь к черту.

Он подхватил это слово.

— К старому хитрому черту, — пронзительно взвизгнул он и разразился таким громким хохотом, какого я никогда не слышал. Это был дерзкий, насмешливый хохот, с визгливой ноткой вызова, от которой волосы вставали дыбом. Я растерянно отшатнулся.

Тотчас же на шканцах поднялось движение, послышался испуганный шепот. Чей-то страдальческий голос крикнул в темноте под нами:

— Кто это там сошел с ума?

Быть может, они подумали, что это их капитан! Бежать — не то слово, чтобы изобразить самый

быстрый шаг, на какой были способны эти бедняги, но в поразительно короткое время все люди на судне, еще державшиеся на ногах, добрались до юта.

Я крикнул им:

— Это старший помощник. Пусть кто-нибудь из вас придержит его…

Я ждал, что это предприятие окончится ужасной дракой, но мистер Бернс сразу оборвал свой насмешливый визг и свирепо повернулся к ним, крича:

— Ага! Собаки! Что, заговорили? Я думал, вы немые.

Ну, так смейтесь же! Смейтесь, говорю вам. Ну же — все вместе. Раз, два, три — смейтесь!

Последовало молчание, молчание такое глубокое, что было бы слышно, если бы булавка упала на палубу.

Затем невозмутимый приятный голос Рэнсома произнес:

— Я думаю, он потерял сознание, сэр… — Маленькая неподвижная кучка людей зашевелилась с тихим ропотом облегчения. — Я подхватил его под мышки. Возьмите его кто-нибудь за ноги.

Да. Это было облегчение. Он замолчал на время — на время. Я бы не перенес другого взрыва этого

безумного хохота. Я был уверен в этом, и как раз в это время Гэмбрил, суровый Гэмбрил, угостил нас другим вокальным номером. Он начал требовать смены. Его голос жалобно ныл в темноте:

— Пусть кто-нибудь придет сюда. Я больше не могу.

Оно сейчас опять двинется, а я не могу…

Я сам бросился на ют, встретив по дороге сильный порыв ветра, приближение которого ухо Гэмбрила уловило издали. Паруса грот-мачты надулись с шумом, похожим на ряд заглушенных выстрелов, смешанных с тихими стонами рангоута. Я поспел как раз вовремя, чтобы схватить штурвал, между тем как Френчи, последовавший за мной, подхватил падающего Гэмбрила. Он оттащил его в сторону, посоветовал ему лежать смирно и затем подошел сменить меня, спокойно спрашивая:

— Как держать, сэр?

— Пока прямо на ветер. Я сейчас прикажу, чтобы зажгли свет.

Но, сделав несколько шагов, я встретил Рэнсома, несущего запасную нактоузную лампу. Этот человек замечал все, заботился обо всем, каждым своим движением подбадривал окружающих. Проходя мимо меня, он успокоительным тоном

заметил, что показываются звезды. Так оно и было. Ветер омывал закопченное небо, пробивался сквозь вялое молчание моря.

Ограда ужасной неподвижности, окружавшая нас столько дней, словно мы были прокляты, была сломана.

Я чувствовал это. Я опустился на комингс светового люка. Легкая белая полоска пены, тонкая, очень тонкая, появилась у борта. Первая с незапамятных — с незапамятных! — времен. Я мог бы ликовать, если бы не чувство вины, втайне не покидавшее меня ни на минуту.

Рэнсом остановился передо мной.

— Что с мистером Бернсом? — тревожно спросил я. — Все еще без сознания?

— Да, сэр… странно. — Рэнсом был, очевидно, в недоумении. — Он не сказал ни слова, и глаза у него закрыты. Но, по-моему, это больше похоже на крепкий сон.

Я принял такую точку зрения, как наименее неприятную или по крайней мере наименее хлопотную. В обмороке или в глубоком сне, мистера Бернса приходилось пока предоставить самому себе. Рэнсом вдруг сказал:

— Я думаю, вам нужно пальто, сэр.

— Я тоже так думаю, — вздохнул я.

Но я не пошевельнулся. Что мне было нужно, так это новые руки и ноги. Мои были совершенно бесполезны, окончательно изношены. Они даже не болели. Но я все-таки встал, чтобы надеть пальто, когда Рэнсом принес его мне. А когда он предложил «взять Гэмбрила на бак», я сказал:

— Отлично. Я помогу вам спустить его на главную палубу.

Оказалось, что я в состоянии помочь. Мы вдвоем приподняли Гэмбрила. Он пытался держаться мужественно, но все время жалобно спрашивал:

— Вы не уроните меня, когда дойдем до трапа? Вы не уроните меня, когда дойдем до трапа?

Ветер крепчал и дул ровно, ровно, все в попутную сторону. На рассвете, без конца перекладывая руль, мы добились того, что фока-реи сами встали прямо (вода оставалась все такой же гладкой), а затем мы стали крепить. Из четырех человек, бывших со мной ночью, я видел теперь только двоих. Я не спрашивал об остальных. Они свалились. Я надеялся, что только на время.

Наша работа на баке заняла несколько часов: двое матросов, бывших со мной, двигались так медленно и должны были так часто отдыхать. Один из них заметил, что «каждая проклятая вещь на судне весит в сто раз больше, чем ей

полагается». Это была единственная жалоба, произнесенная вслух. Не знаю, что бы мы делали без Рэнсома. Он работал с нами, тоже молча, с застывшей на губах легкой улыбкой. Время от времени я бормотал ему: «Держитесь, Рэнсом!», «Полегче, Рэнсом!» — и получал в ответ быстрый взгляд.

Когда мы сделали все, что могли, он исчез в свой камбуз. Немного погодя, обходя судно, я заметил его в открытую дверь. Он сидел на ящике перед печью, прислонившись головой к переборке. Глаза его были закрыты, ловкие руки придерживали расстегнутую тонкую бумажную рубашку, трагически обнажавшую могучую грудь, тяжело вздымавшуюся в мучительных вздохах.

Он не слышал моих шагов.

Я тихонько отошел и отправился прямо на ют сменить Френчи, который казался теперь совсем больным.

Он доложил мне курс по всем правилам и попытался отойти бодрым шагом, но два раза сильно пошатнулся прежде, чем скрыться из виду.

И тогда я остался на юте в полном одиночестве, правя своим судном, которое неслось по ветру, весело подпрыгивая и даже слегка кренясь. Вскоре предо мной появился Рэнсом с подносом. При виде еды я вдруг почувствовал сильный голод.

Он встал за штурвал, а я сел на банкетку, чтобы съесть свой завтрак.

— Этот ветер, видно, прикончил наших ребят, — пробормотал он. — Он уложил их всех — всех до одного.

— Да, — сказал я. — Кажется, вы и я единственные годные на что-нибудь люди на борту.

— Френчи говорит, что еще попрыгает. Не знаю.

Вряд ли его хватит надолго, — продолжал Рэнсом со своей грустной улыбкой. — Славный человечек. Но что, если ветер повернет, когда мы подойдем к берегу, — что нам тогда делать, сэр?

— Если ветер резко повернет, когда мы будем у самой земли, судно или будет выброшено на берег, или потеряет мачты, или случится то и другое. Мы ничего не можем поделать с ним. Оно теперь летит с нами. Все, что мы можем сделать, это править. Это судно без экипажа.

— Да. Всех уложило, — спокойно повторил Рэнсом. — Я время от времени заглядываю к ним, но мало что могу для них сделать.

— Я, и судно, и все, кто на борту, в большом долгу у вас, Рэнсом, — с жаром сказал я.

Он сделал вид, что не слышит, и молча правил, пока я не сменил его. Он передал мне штурвал,

взял поднос и на прощание сообщил, что мистер Бернс проснулся и, как видно, собирается выйти на палубу.

— Я не знаю, как его удержать, сэр. Я не могу оставаться внизу все время.

Было очевидно, что он не может. И в самом деле, мистер Бернс притащился наверх, с трудом передвигаясь в своем огромном пальто. Я смотрел на него с весьма понятным ужасом. Иметь его возле себя и слушать его бред о проделках мертвеца в то время, как я должен править дико несущимся судном, было довольно жуткой перспективой.

Но первые его замечания были вполне разумны как по смыслу, так и по тону. По-видимому, он не помнил ночной сцены. А если и помнил, то ни разу не выдал себя.

Он вообще говорил немного. Он сидел на световом люке и сначала казался тяжко больным, но этот сильный ветер, уложивший последних моих матросов, как будто с каждым порывом вдувал в его тело новый запас сил.

Он оживал у меня на глазах.

Чтобы испытать его нормальность, я нарочно намекнул на покойного капитана и очень обрадовался, увидя, что мистер Бернс не проявил к этой теме особенного интереса. Он вкратце повторил

старую повесть о преступлениях свирепого злодея, мстительно смакуя ее, но затем неожиданно заключил:

— Я думаю, сэр, что его мозг начал сдавать за год или больше до того, как он умер.

Чудесное исцеление. Я не мог отнестись к нему с тем восхищением, какого оно заслуживало, так как мне приходилось отдавать все свое внимание управлению судном.

В сравнении с безнадежною вялостью предыдущих дней это была головокружительная скорость. От форштевня расходились два гребня пены; ветер пел бурную песню, которая при других обстоятельствах выражала бы для меня всю радость жизни. Каждый раз, как убранный грот начинал заполаскивать и грозил разорваться в лоскутья, задевая о такелаж, мистер Бернс опасливо посматривал на меня.

— Что же я могу сделать, мистер Бернс? У нас нет сил ни крепить его, ни поставить. Я только хотел бы, чтобы эта старая тряпка разлетелась в клочья, и конец делу. Эта адская трескотня выводит меня из себя.

Мистер Бернс заломил руки и вдруг вскричал:

— Как вы введете судно в гавань, сэр, один, без людей?

И мне нечего было сказать ему.

Но это было сделано часов сорок спустя. Заклинающей силой страшного хохота мистера Бернса злобный призрак был побежден, злые чары сломлены, проклятие снято. Мы были теперь в руках благосклонного и энергичного провидения. Оно увлекало нас вперед…

Мне никогда не забыть последней ночи, темной, ветреной и звездной. Я правил. Мистер Бернс, взяв с меня торжественное обещание разбудить его, если что-нибудь случится, откровенно заснул на палубе у нактоуза. Выздоравливающим нужен сон. Рэнсом, прижавшись спиной к бизани и укутав ноги одеялом, сидел не шевелясь, но я не думаю, чтобы он закрыл глаза хоть на минуту. Фрэнчи, это воплощение бодрости, по-прежнему, под влиянием иллюзии, что он еще «попрыгает», настоял на том, чтобы присоединиться к нам; но, памятуя о дисциплине, улегся как можно дальше от нас в передней части юта у бухты с ведрами.

А я правил, слишком усталый, чтобы тревожиться, слишком усталый, чтобы связно мыслить. У меня были мгновения мрачного упоения, а затем мое сердце падало при воспоминании о баке на другом конце темной палубы с пораженными лихорадкой людьми — были среди них

умирающие. По моей вине. Но все равно. Угрызения совести подождут. Я должен править.

Перед рассветом ветер ослабел, затем стих совсем.

Часов в пять он подул снова, не очень свежий, позволив взять курс на рейд. Рассвет застал мистера Бернса сидящим у штурвала в бухтах троса, которыми его подперли, и правящим из глубины своего пальто очень белыми костлявыми руками; между тем как Рэнсом и я бегали по палубе, отдавая с кнехтов шкоты и фалы, так чтобы они свободно травились от хода судна. Затем мы бросились на бак. От работы и нервного напряжения пот так и струился у нас со лба, когда мы начали готовить якоря к отдаче. Я не смел смотреть на Рэнсома, когда мы работали с ним бок о бок. Мы обменивались короткими фразами; я слышал, как он тяжело дышит, и избегал смотреть в его сторону из боязни увидеть, как он вдруг упадет и испустит дух в тот миг, когда проявит всю свою силу — ради чего? Конечно, ради какого-то определенного идеала.

В нем пробудился непревзойденный моряк. Он не нуждался в указаниях. Он знал, что делать. Каждое усилие, каждое движение было актом стоического героизма. Не подобало мне смотреть

на человека, так осененного вдохновением.

Наконец все было готово, и он сказал:

— Не пойти ли мне теперь вниз снять стопоры, сэр?

— Да, пойдите, — сказал я.

Даже и теперь я не посмотрел в его сторону. Немного погодя его голос раздался с главной палубы:

— Брашпиль изготовлен. Когда будет угодно, сэр.

Я сделал мистеру Бернсу знак бросить руль и отдал оба якоря один за другим, вытравив столько смычек, сколько пожелал корабль. Оба каната вытравились почти до конца. Полоскавшие паруса обстенили мачты… и прекратили свой сводящий с ума шум и треск над моей головой. Полная тишина воцарилась на судне. Стоя на баке и чувствуя легкое головокружение от этого внезапного покоя, я уловил один-два слабых стона и бессвязное бормотание больных в кубрике.

Так как на бизани у нас развевался сигнал о медицинской помощи, то прежде чем корабль успел остановиться, возле него уже были три паровых катера с различных военных судов; и по крайней мере пять морских врачей вскарабкались на борт. Они стояли кучкой, окидывая взглядом пустую

палубу, затем взглянули вверх, где тоже не видно было ни души.

Я пошел им навстречу — одинокая фигура в пижаме в голубую и серую полоску и в пробковом шлеме. Их неудовольствие было велико. Они ждали хирургических случаев. Каждый из них принес с собою инструменты.

Но скоро они справились с этим маленьким разочарованием. Меньше чем через пять минут один из катеров несся к берегу затребовать большую шлюпку и санитаров для перевозки команды. Большой паровой катер отошел к своему судну, чтобы привезти несколько матросов, которые убрали бы паруса.

Один из врачей остался на судне. Он вышел из кубрика с непроницаемым видом.

— Там никто не умер, если вас это интересует, — спокойно сказал он, заметив мой вопросительный взгляд.

Потом прибавил удивленным тоном: — Вся команда!

— Им очень плохо!

— Очень плохо, — повторил он. Глаза его блуждали по судну. — Господи! Что это?

— Это, — сказал я, глядя на ют, — мистер Бернс, мой старший помощник.

Мистер Бернс со своей полумертвой головой, покачивающейся на тонкой, как стебель, шее, являл собой зрелище, которое могло вызвать восклицание у всякого.

— Он тоже отправляется в госпиталь? — спросил доктор.

— О нет, — весело сказал я. — Мистер Бернс сойдет на берег не раньше, чем грот-мачта. Я очень горжусь им. Он мой единственный выздоравливающий.

— У вас вид… — начал доктор, глядя на меня в упор.

Но я сердито перебил его:

— Я не болен.

— Нет… У вас странный вид.

— Видите ли, я провел на палубе семнадцать дней.

— Семнадцать!.. Но вы, вероятно, все-таки спали.

— Вероятно. Не знаю. Но я уверен, что не спал последние сорок часов.

— Фью!.. Полагаю, сейчас вы сойдете на берег?

— Как только смогу. Меня ждет там масса дел.

Доктор отпустил мою руку, которую взял, пока мы беседовали, вынул записную книжку, быстро написал Что-то, вырвал листок и протянул его

мне.

— Я очень советую вам заказать на берегу это лекарство. Если не ошибаюсь, оно вам понадобится сегодня вечером.

— Что же это такое? — недоверчиво спросил я.

— Снотворное, — коротко ответил доктор и, подойдя с заинтересованным видом к мистер Бернсу, завязал с ним разговор.

Когда я спустился вниз, чтобы одеться перед тем как сойти на берег, Рэнсом последовал за мной. Он попросил извинения: он тоже хочет сойти на берег и получить расчет.

Я с удивлением взглянул на него. Он ждал моего ответа с тревожным видом.

— Неужели вы хотите оставить судно? — вскричал я.

— Да, сэр. Я хочу уйти и отдохнуть где-нибудь. Все равно, где. Хотя бы в госпитале.

— Но послушайте, Рэнсом, — сказал я, — мне претит мысль расстаться с вами.

— Я должен уйти, — прервал он. — Я имею право!

Он тяжело дышал, и на лице его появилось выражение почти безумной решимости. На миг он стал другим существом. И под достоинством и красотой этого человека я увидел смиренную

действительность. Жизнь была ему дорога — эта ненадежная, суровая жизнь, и он очень тревожился о себе.

— Конечно, я дам вам расчет, если вы хотите, — поспешил я сказать. — Я только должен попросить вас остаться здесь до вечера. Я не могу оставить мистера Бернса на несколько часов совершенно одного.

Он сразу успокоился, улыбнулся и своим обычным приятным голосом уверил меня, что прекрасно понимает это.

Когда я вернулся на палубу, все было готово для перевозки людей. Последнее испытание в этом плаванье, наложившем печать на мой характер и закалившем его — хотя я этого и не знал.

Это было ужасно. Они проходили предо мной один за другим — каждый из них был воплощенным горьким упреком, пока я не почувствовал, как во мне просыпается какое-то возмущение. Бедный Френчи вдруг свалился. Его пронесли мимо меня без чувств; его комичное лицо страшно раскраснелось и как будто опухло, дыхание с шумом вырывалось из его груди. Он был похож на мистера Панча больше, чем когда-либо; на возмутительно пьяного мистера Панча.

Суровый Гэмбрил, наоборот, временно почув-

ствовал себя лучше. Он настоял на том, чтобы дойти до борта на собственных ногах — конечно, поддерживаемый с обеих сторон. Но в тот миг, когда его должны были перетащить через борт, он поддался внезапному страху и начал жалобно вопить:

— Смотрите, чтобы они меня не уронили, сэр. Смотрите, чтобы не уронили, сэр!

В ответ я говорил ему самым успокоительным тоном:

— Не бойтесь, Гэмбрил. Они не уронят. Не уронят.

Это было, разумеется, очень смешно. Матросы с военного судна украдкой скалили зубы, и даже грустная улыбка Рэнсома (все время помогавшего при переноске) на короткий миг стала шире.

Я поехал на берег на паровом катере. Оглянувшись, я увидел мистера Бернса, стоящего на гакаборте, все еще в своем огромном мохнатом пальто. В ярком солнечном свете поразительно бросался в глаза его жуткий вид. Он был похож на страшное, замысловатое пугало, поставленное на корме пораженного смертью судна, чтобы не подпускать к трупам морских птиц.

Наша история уже облетела город, и все на берегу были в высшей степени любезны. Портовое

управление не взяло с меня портового сбора, и так как в Доме моряка как раз остановился экипаж какого-то потерпевшего крушение судна, я без труда раздобыл столько людей, Сколько мне было нужно. Но когда я спросил, не могу ли я повидать капитана Эллиса, мне, тоном сожаления о моем невежестве, сказали, что наш уполномоченный Нептуна вышел в отставку и уехал на родину недели через три после того, как я покинул порт. Таким образом, я полагаю, что мое назначение — если не считать текущих дел — было последним актом его официальной жизни.

Странно, как я, прибыв на берег, был поражен гибкой походкой, живыми глазами, здоровым видом всех, кого встречал. Это произвело на меня огромное впечатление. И среди тех, кого я встретил, был, разумеется, и капитан Джайлс. Было бы удивительно, если бы я его не встретил. Шатание по деловой части города было его обычным утренним занятием, когда он бывал на берегу.

Я еще издали заметил поблескивающую золотую цепочку у него на груди. От него так и веяло благодушием.

— Что я слышу? — пожав мне руку, спросил он со своей улыбкой доброго дядюшки. — Двадцать один день из Бангкока!

— Это все, что вы слышали? — спросил я. — Вы должны позавтракать со мной. Я хочу, чтобы вы в точности знали, в какую историю вы меня впутали.

Он колебался почти целую минуту.

— Хорошо… пойдемте, — снисходительно сказал он наконец.

Мы зашли в отель. К моему удивлению, оказалось, что у меня великолепный аппетит. Затем, когда со стола было убрано, я выложил перед капитаном Джайлсом историю этих двадцати дней со всеми их профессиональными и эмоциональными деталями, между тем как он терпеливо курил большую сигару, которой я угостил его.

Затем он глубокомысленно заметил:

— Вы должны чувствовать себя здорово усталым.

— Нет, — сказал я. — Не усталым. Но я скажу вам, капитан Джайлс, как я себя чувствую. Я себя чувствую старым. И, должно быть, я стар. Все вы на берегу кажетесь мне кучкой ветреных юнцов, никогда не знавших, что такое забота.

Он не улыбнулся. У него был нестерпимо примерный вид.

— Это пройдет, — объявил он. — Но вы кажетесь старше, — это факт.

— Ага! — сказал я.

— Нет! Нет! Правда в том, что в жизни не следует придавать слишком большое значение ни дурному, ни хорошему.

— Жить с прохладцей, — насмешливо пробормотал я. — Не всякий на это способен.

— Ну, вы скоро будете довольны, если сможете двигаться хотя бы с прохладцей, — отпарировал он со своим застенчиво добродетельным видом. — И еще одно: человек должен бороться с невезением, со своими ошибками, со своей совестью и всякой такой штукой. Да что там — с чем же еще бороться?

Я молчал. Не знаю, что он прочел на моем лице, но он вдруг спросил:

— Что это — уж не Из трусливых ли вы?

— Один бог знает, капитан Джайлс, — был мой искренний ответ.

— Это неважно, — спокойно сказал он. — Вы скоро научитесь, как не быть трусливым. Человек должен учиться всему — а этого многие из юнцов даже не понимают.

— Ну, я уже не юнец.

— Да, — согласился он. — Вы скоро уезжаете?

— Я сейчас возвращаюсь на судно, — сказал я. — Я выберу один из якорей и подтянусь на втором

на полкабельтова, как только мой новый экипаж явится на судно, а завтра на рассвете отплыву.

— Ага, — одобрительно буркнул капитан Джайлс. — Так оно и следует. Из вас выйдет толк.

— А вы что думали? Что я буду неделю отдыхать на берегу? — сказал я, раздраженный его тоном. — Я не могу отдыхать, пока мы не выйдем в Индийский океан, да и тогда мне будет не до отдыха.

Он хмуро, точно преобразившись, пыхтел сигарой.

— Да. К этому все сводится, — задумчиво сказал он.

Точно тяжелая завеса поднялась, открыв совсем неожиданного капитана Джайлса. Но только на миг, ровно настолько, чтобы он успел прибавить:

— Да, мало, мало отдыха в жизни для всех. Лучше не думать об этом.

Мы встали, вышли из отеля и расстались на улице с горячим рукопожатием как раз в ту минуту, когда он, впервые за все наше знакомство, начал интересовать меня.

Первое, что я увидел, вернувшись на судно, был Рэнсом, сидевший на шканцах, на своем аккуратно увязанном сундуке.

Я сделал ему знак следовать за мной в салон, где я сел и написал ему рекомендательное письмо к одному моему знакомому на берегу.

Окончив, я подвинул к нему письмо через стол.

— Оно может вам пригодиться, когда вы выйдете из больницы.

Он взял его и положил в карман. Глаза его смотрели куда-то в сторону в пространство. Лицо выражало тревогу.

— Как вы себя чувствуете теперь? — спросил я.

— Сейчас ничего, сэр, — сдержанно ответил он. — Но я боюсь, что вот-вот начнется... — На губах его опять мелькнула грустная улыбка. — Я... я ужасно боюсь за свое сердце, сэр.

Я подошел к нему, протягивая руку. В его не глядевших на меня глазах было напряженное выражение.

Он походил на человека, который прислушивается к предостерегающему зову.

— Вы не хотите пожать мне руку, Рэнсом? — мягко сказал я.

Он издал восклицание, густо покраснел, сильно встряхнул мою руку — и в следующий миг, оставшись один в каюте, я услышал, как он осторожно поднимается по трапу, ступенька за ступенькой,

смертельно боясь разгневать нашего общего врага, которого он жестокой судьбой был обречен сознательно носить в своей верной груди.